HEBA

11'95

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Документальная повесть была написана в 1960-х и пролежала в ящике стола 30 лет. Опубликована в журнале «Нева» в двух номерах («11» и «12») 1995 г.

- Лев Разумовский
  -
  - Часть I. В ЗАПАСНОМ ПОЛКУ
    - Мантурово
    - Шарья
    - Учусь жить
    - Вязники
    - Фонарь
    - Муром
    - Курсантская рота
    - Баня
    - Пропавший штык
    - Хороший день
    - Расстрел дезертира
    - Портреты
    - Будни
    - При попытке к бегству…
    - Кухня
    - Стрельбы
    - Обыск на снегу
    - Ночная тревога
    - Зимний поход
    - Письма
    - Канаш — Вышний Волочёк
    - Летний лагерь
    - Последняя медкомиссия
    - На фронт
  - Часть II ФРОНТ
    - Прифронтовой лес
    - Первый бой. 21 июня
    - Финский дом
    - В лесной чаще
    - Почем эскимо?
    - Поход
    - И снова бой…
    - Вятские
    - Под пули

- На часах
- Отдельный костер
- За что?
- Самоходка
- Последний бой

○ Часть III. ГОСПИТАЛИ
- Санбаты
- Паша
- Ладога
- Санитарный поезд
- Котельнич
- Госпиталь ампутантов
- Еду в Ленинград!
- Ленинградский госпиталь
- Встреча победителей

Лев Разумовский
Нас время учило

Дочерям моим посвящаю

(Ноябрь 1943 — май 1945)

Фронт. 1944. За две недели до ранения

Уважаемый Лев Самсонович!

Прошу извинить меня, что не отвечал так долго. Я, как говорят, «удалился от дел», чтобы писать спокойно и читать то, что необходимо для работы или то, что в этот момент хочется прочесть. Но мне шлют и шлют книги, романы, сборники стихов, тем самым вольно или невольно руководя моим чтением. Вот так я и к Вашей вещи отнёсся. Но сегодня взял 11-й номер «Невы», который Вы мне прислали, начал читать и уже не оторвался. И вот под впечатлением пишу Вам. Я не читал роман Астафьева, возможно Вы в чём-то и пересекаетесь с ним, но написанное Вами очень живое, достоверное (да как ему не быть достоверным, когда это прожито Вами), многое из того, что Вы рассказываете, я в литературе не встречал. Конечно, меня это волновало, конечно, мне это интересно. Так ли интересно нынешним молодым, не знаю. Но хорошо, что это написано, и уже это не исчезнет.

Всего Вам самого доброго. Сердечно жму Вашу руку

17.XI-97г.

Отзыв Григория Бакланова

Часть I. В ЗАПАСНОМ ПОЛКУ

Мантурово

Мы сидим на заплеванном полу Мантуровского военкомата.

Все время хлопают двери — вдруг входят новые партии призывников и располагаются на полу, положив по голову сидора.

Рядом поют частушки. Мотива почти нет, слова оглушительно выкрикиваются, обрываясь на полуслове, слышен нехитрый перебор гармошки, потом снова многоголосое рявканье.

Нас уже обрили наголо, теперь мы ждем медосмотра, отдыхаем после сорока километров пути из Угор. Кто-то с хрустом жует сухарики, вынимая их из большого холщового мешка, дымят самокрутки… Ноябрьская стужа леденит забитые фанерой окна, крепкий запах самосада смешивается с вонью из дощатой загаженной уборной, стоящей во дворе.

— Все призывники вшивые! — споткнувшись о мою ногу, чертыхается дядька, который стриг нас час тому назад.

Я достаю из вещмешка пирог с картошкой, жую и радуюсь своему богатству: у меня десятка два пирогов, испеченных в детдоме, черные квадратные сухари, небольшой кусок масла и мешочек вяленой свеклы вместо сахара.

— Выходи строиться!

Торопливо сую остатки пирога обратно и выбегаю во двор. Призывники выходят, ищут свое место, путаются, бестолково месят лаптями грязный снег. Наконец мы образовываем какое-то подобие строя, кривого и нечеткого.

— Рравняссь! Смир-на! — слышен надрывный крик худого мужчины, одетого в короткое штатское пальто, военные брюки и сапоги. Кричит он истошно, и щека у него при этом дергается. Демобилизованный…

— Смир-на!

Перед нами начальство — тучный высокий мужчина с красным грубым лицом — райвоенком майор Краснов. Широкие черные брови высокомерно подняты, губы презрительно поджаты.

На майоре форма с незнакомыми погонами. За ним, на некотором отдалении, еще трое пестро одетых людей, какая-то смесь военного со штатским.

— Рраа-авнение на середину!

Наш командир не говорит, а поет, команда подается протяжно и на самых высоких тонах, торжественность нарушает только не в такт дергающаяся щека.

Высоко задирая негнущиеся ноги, он подшагивает к майору:

— Товарищ районный военный комиссар! Новый набор

призывников выстроен!

Майор обводит глазами наш строй. Меня удивляет выражение его лица: я ожидал увидеть внимательный взгляд старого командира, оценивающее приглядывание, может быть, добродушную усмешку — ничего этого нет. На лице его — высокомерие и неприязнь. Может быть, мне это кажется?

— Здравствуйте, товарищи бойцы! — выкрикивает он неожиданно.

Мы отвечаем разноголосо и нестройно.

Ему это не нравится. Он повторяет приветствие-команду. Мы отвечаем еще хуже.

— Сержант! — Наш командир вытягивается перед ним. — Ну-ка, погоняйте их передо мной немного!

Погоняйте? Нет, я не ослышался. Впрочем, он прав, мы должны были лучше ответить ему.

— Нале-во! — слышится команда. — Ша-агом марш!

Мы маршируем. Несколько сот ног в лаптях уминают грязный снег во дворе военкомата. Пестрая масса призывников, одетая во что попало, даже отдаленно не напоминает воинскую часть. Ватники, полупальто, ушанки, кубанки, мешки за плечами, — мы выглядим мешочниками в пути. Единственное, то нас всех объединяет и создает видимость некоей формы, — это лапти. На мне тоже лапти и черный матросский бушлат.

— Подтянуться! Направляющий, короче шаг! — надрывается командир. — Взять ногу! Р-раз-два три, рраз-два-три!

Ничего не помогает. Усталые люди спотыкаются, идут не в ногу, мы растягиваемся по всему двору, мешки болтаются, лапти скрипят.

— На месте! — слышим мы пение командира.

Часть толпы начинает вразнобой топать ногами на месте, передние уходят вперед.

— На месте! Мать вашу в душу! Направляющий, стой!.. Вашу мать!

Люди останавливаются. Командир в бешенстве матюгается, мы подтягиваемся, выравниваемся, дышим тяжело. Сегодня ночью мы прошли сорок километров. Ноги болят, усталость сковывает мысли и движения.

— Сержант, ко мне! — слышно с середины двора.

Мы видим, как майор отчитывает нашего командира. Поделом ему! Наверно, за ругань… Разве можно так ругаться, когда идет строй, какой пример он подает будущим солдатам? Ведь каждый командир — воспитатель в Красной Армии.

Майор подходит к нам.

— Разве так ходят? — обращается он к нам.

Мы молчим.

— Ходить ни… не умеете! Вот как надо ходить!

Он выбрасывает вперед ногу в начищенном сапоге почти на девяносто градусов и делает таким образом несколько шагов. Весь он как заводная кукла, лицо принимает торжественное выражение. Он явно любуется собой.

В наших рядах раздаются смешки.

— Как гусь! — произносит кто-то сзади.

Майор оборачивается. С лица сходит состояние торжественности, оно принимает свое обычное брезгливо-надутое выражение.

— Кто смеялся?

Молчим.

— Кто смеялся в строю, я спрашиваю?

Люди сопят, переминаются с ноги на ногу.

— Сержант! Два часа строевой этим недоноскам!

Следует грязная ругань.

— Ничего, — вмешивается один из сопровождающих, — в армии их обломают! Научат жить! Дадут прикурить!

…Вечером, еле волоча ноги, я разыскиваю по адресу, данному мне в Угорах, место, где я могу переночевать. Мне открывает скрипучую дверь девчонка, лет двенадцати, закутанная в серый платок, в валенках на босу ногу.

— Смирновы здесь живут?

— Мы Смирновы.

— Можно у вас переночевать? Я из Угорского детского дома, пришел на призыв.

Девчонка исчезает. Вместо нее появляется мать, худая женщина в платке. Она быстро окидывает меня взглядом, улыбается и открывает дверь.

— Ночуй, милый, ночуй! Мне не жалко. У меня завсегда детдомовские ночуют, изба большая, только холодно, дров нынче мало…

— Ничего, мамаша, спасибо! Где можно лечь?

Она указывает мне место в большой комнате, и я с наслаждением вытягиваюсь на полу. Коптилка на столе выхватывает темную зелень большого фикуса, некрашеный стол, лавки, иконы в углу, рядом с ними в рамке фотографии. Снимаю лапти. Расстилаю бушлат на полу, укладываю удобно мешок под голову. В голове отрывочными кадрами проносятся отдельные события последних лет.

Сентябрь сорок первого. Я вместе с другими мальчишками нашего дома стою на крыше. Вдали горят Бадаевские склады. Густые темные клубы дыма поднимаются из-за горизонта,

заходящее солнце окрашивает их в ярко-оранжевый цвет. Мы еще не знаем, что нас ждет.

Ноябрь. Происходит страшное-невероятное. Немцы окружили город и ежедневно, еженощно бомбят его. Под вой сирен, уханье зениток и грохот рвущихся бомб мы — отец, мама, Мирра и я — прячемся на лестничной площадке первого этажа и там, в тоске и тревоге, пережидаем очередной налет. С каждым днем все меньше хлеба.

Январь. Заснеженный, вымирающий от голода город. Сил уже не осталось вообще, голод и цинга сделали свое дело. Я уже не выхожу на улицу, а лежу в стылой комнате под тремя одеялами и жду чуда…

Февраль. Мирра везет меня на детских санках в открывшийся на Обводном канале стационар для дистрофиков, и чудо происходит: через месяц я возвращаюсь домой на своих ногах!

Июль сорок второго. Мирра становится воспитателем детского дома и забирает нас с мамой с собой в эвакуацию. Долгий путь через Ладогу, Горький, и, наконец, глухая деревушка Угоры, где нам было суждено провести полтора года вместе с двумя сотнями ленинградских детей, ставших сиротами во время блокады.

И вот последний прощальный день. Утром я попрощался с ребятами и получил множество подарков — ненужных, но трогательных мелочей, а вечером к нам в избу пришли все сотрудники и воспитатели детского дома. В избе было очень тепло от натопленной с утра печи, а еще теплее становилось на душе от добрых слов и напутствий моих старших друзей — Ревекки Лазаревны, Веры и Люси Роговых, Люси Рабинович и Розы Михайловны. Свет керосиновой лампы причудливо выхватывал из полутьмы белую печь с черной топкой, стол, с остатками домашнего угощения, чашки с недопитым чаем, а также добрые и грустные лица моих друзей и знакомых, и самые дорогие — мамы и сестры.

Лунная ночь. Снег приятно скрипит под ногами. Мы стоим на дороге около Копцевской горы — традиционного места расставания. Играет гармонь, звучат частушки вперемешку с матерком, парни напоследок тискают девок и отмахиваются от матерей, стоит непрерывный вой и плач провожающих женщин. Не плачет лишь одна моя мама. Она молчит и вглядывается странно и пристально в мое лицо. Мы молчим, потому что уже все сказано…

Кто-то понукает хмурых лошадей, и сани трогаются. На санях наши мешки, поверх мешков развалился Пашка Громов, он тискает кучера — Шурку-письмоноску.

В последний раз я целую маму и Мирру, поворачиваюсь и иду, рядом горланят частушки мои товарищи, угорские парни. Они почти все пьяны, но идут бодро, поют, перебрасываются шутками. Все они почему-то низкорослы и кряжисты. Я иду молча и слышу, как меня кто-то догоняет. Оборачиваюсь. Мирра подбегает ко мне и крепко жмет руку. Вдали стоит мама, одна, маленькая и беззащитная. Она не плачет. Слезы комком подпирают горло. Я вырываю руку и догоняю подводы.

— Ватер во дворе, коли надобно, — говорит хозяйка и тушит коптилку.

Темнота.

Гудки паровоза. Шпалы. Уходящие рельсы. Маневрирует маленький паровозик, пыхтя и пуская пар на грязный снег. Как давно я не был на станции, не слышал этого тревожного и сладкого вокзального шума! Только что остановился на минутку пассажирский поезд, из него высыпал народ. Люди бегут с чайниками за кипятком, много военных, на всех погоны. Шинель одного офицера распахивается, и я вижу — ого! Вот это да! На груди несколько орденов! Рядом другой офицер, оба оживленны, розовощеки, выглядят боевыми орлами. Я внутренне отмечаю их выправку, бравый вид и мысленно сравниваю с нами. Странное чувство — мы разнородны и жалки в нашей разношерстной одежке, в наших лаптях и онучах, с огромными сидорами за плечами.

Свисток. Поезд трогается, офицеры на ходу вскакивают на подножку, и скоро поезд становится малозаметной точкой в сходящихся светлых нитках рельс.

— По вагонам!

Мы выстраиваемся в цепочку и идем к товарному вагону кирпичного цвета с большой дверью посредине. Высокая железная скоба вместо подножки ведет в зияющую черноту дверного проема. По пути к вагону мы проходим сквозь строй плачущих женщин. Это мантуровские провожают своих.

— Пиши, Николай, пиши!

— Ох, горе-то!

— Дитятко мое родимое, не для кого мне больше работать! Сложишь ты свою буйную головушку…

— Глянь — этот-то в очках!

— Не наш, видно!

— Детдомовский! С Угор!

Я неловко ставлю ногу в скобу, пытаясь забраться, нога соскальзывает. Сзади подталкивают. Рывок, я отодвигаюсь по стенке в сторону и натыкаюсь на дощатый настил. Он установлен

в два этажа. Нары. Забираюсь в дальний темный угол нар и оттуда выглядываю. Посреди вагона круглая железная печка, мимо нее пробегают незнакомые мне парни, с криком и гиканьем занимают места на нарах, кто-то с грохотом бросает из двери вязанку дров, какой-то парень в ушанке начинает колоть их и пихать в печку, за стенкой слышен плач и выкрики женщин… Я лежу, крепко прижав к себе черный вещевой мешок, в котором все мое богатство.

— Мишка, подай топор! У кого спички?

— А дрова сырые, едри их в корень!

— Так мы и не допили ту поллитру!

— Не лезь сюды, тут мы с Колькой заняли!

Эх мантуровская милиция
хорошая была,
по нагану отобрала,
по кинжалику дала!

— Кабы нам тоже хорошие шинеля дали, мы тоже бы, как тот офицер!

— Дадут тебе, держи карман!

— Дадут, да еще поддадут!

Ох, состряпай, мамынька, селяночку,
в последний раз у вас я ем,
скоро в армию забреют —
больше вам не надоем!

Кто-то топает, приплясывает около печки — греется, печка дымит, сырые дрова не разгораются. Длинный парень из Мантурова, посовещавшись со своими дружками, выскакивает из вагона и через несколько минут возвращается, неся на проволоке какую-то черную мочалку. Ее кидают в печь, и пламя сразу вспыхивает ярким цилиндром. Лица выхватываются из полутьмы желтыми пятнами, печка начинает гудеть, в воздухе пахнет дегтем.

Этот световой эффект встречается общим одобрительным ревом. Я даже не могу разобрать отдельных выкриков, кроме «Даешь!», «Тяни ее еще, сейчас погреемся!» — и лихого, веселого мата. И вдруг меня осеняет: это же пакля из букс! Просмоленная пакля кладется в буксы как смазка для подшипников, и если ее не будет, то… Это же преступление…

Я вскакиваю с места и начинаю сбивчиво объяснять, на меня

с удивлением оглядываются, отмахиваются, как от мухи, кто-то ругается.

— Дать ему раза в рыло, чтоб не совался! — слышу я сзади глуховатый голос. Я резко оборачиваюсь, но не успеваю разглядеть говорящего, так как сзади вырывается целый сноп пламени, и я вынужден отскочить в сторону. Раздается хохот. Теперь уже трое бегают за паклей и суют ее поминутно в огонь. Печка раскаляется, дверь теплушки закрывают, становится ощутимо тепло… Парни, рассевшись по нарам, начинают раскрывать свои сидора и закусывать. С удивлением гляжу на их огромные холщовые мешки, они битком набиты сухарями, там пуды сухарей, бутылки с топленым маслом, пряженники… Кто-то достает вяленое мясо, разговоры смолкают. Все жуют, чавкают, хрустят.

Пересчитывая свои пироги, я замечаю, что половина из них пропала. Нет также куска мыла и полотенца, аккуратно уложенного мамой. Утром, торопясь, я не посмотрел в рюкзак, и теперь мне есть чем вспомнить мою мантуровскую хозяйку.

В вагон входит невысокий мужчина в черном пальто и военной ушанке. Это наш сопровождающий от военкомата. Он делает перекличку, каждый отвечает: «Я»! Нас в вагоне шестьдесят человек.

Я испытываю какое-то странное удовлетворение от этой официальной процедуры, подсознательно радуясь тому, что с нами есть командир, какое-то официальное лицо. Хоть какая-то крупица порядка!

Закончив перекличку, сопровождающий выходит наружу, и двери с грохотом задвигаются. В вагоне темно. Только печка лучится красновато, и тени бегают по стенам и потолку вагона.

— Эх, фонарь бы!

— С фонарем хорошо!

— И вот с той девкой я отгулял и стал гулять с другой…

— Да ты расскажи, што в Шулеве было…

— А в Шулеве ничего не было. Шли мы с Мантурова, с приписки, значит. На дороге двух девок встретили. Они нас увидали — и бежать. Мы догнали, поташшили в волок. Одну я держу, ташшу, а другую Егорка Соколов да Пашка Еремин, да ешшо нас двое было. Они кричат, вырываются, а мы — знай свое — ташшим.

В вагоне становится тихо, все начинают прислушиваться, тема явно всем по душе, вспыхивают огоньки самокруток, тускло освещая лица.

— Ну, в кусты приволокли, платья над головой завязали, а тут как раз бабы по дороге ехали, нас заметили, закричали.

Заругались… Ну, раз тако дело, пришлось нам бросить девок да в кусты… Да ходу!

— Так и не успели? — с явным сожалением спрашивает высокий красивый парень в коричневом полушубке.

— Не… только живого мяса и пошшупали! Ну да мне што! Што я, девок не пробовал? А вот Егорке да Пашке обидно: они на первака шли…

— А вот, паря, на гулянке в Макарьеве у нас было дело…

Я напряженно вглядываюсь в рассказчика: смуглый широкоплечий парень говорит неторопливо, весомо, уверенно. Его слушают, затаив дыхание, он сидит на верхних нарах, окруженный группой своих, чувствуется, что он атаман среди них, ему скручивают самокрутку, он небрежно, не глядя, берет ее, извлекает из кармана «кишку», кремень, ударяет несколько раз по кремню кресалом — вата начинает тлеть, он закуривает, тушит «кишку» в гильзе и, сплюнув, продолжает:

— В Макарьеве, паря, мы за одну гулянку четырех девок спортили…

Я не верю ушам своим — как можно о таком говорить вслух, спокойно… И что со мной? Сидит рядом живая сволочь, насильник, негодяй, а я слушаю его, не встаю, не даю ему по морде… надо немедленно вызвать командира, чтобы этого гада взяли и судили… Но почему-то я продолжаю оставаться на месте, парализованный тем, с каким вниманием, интересом и одобрением следит весь вагон за его рассказом! Меня раздирают противоречивые чувства, каждое слово смуглого отпечатывается во мне, но вот начинает говорить другой, третий, и я начинаю понимать, что никто не осуждает, наоборот, — эти рассказы воспринимаются как бравада, они вызывают уважение и поднимают авторитет.

— Она с травы встала, юбку спустила и реветь. А я говорю: «Не плачь, Клава, война всё спишет!»

— Ха-ха!..

— А я вот расскажу…

Резкий крик врывается к нам в окошки вагона, дверь распахивают снаружи, какая-то драка в темноте.

— Мантуровские! Межаки наших бьют! — слышим мы звонкий задыхающийся голос.

Мгновение — и весь вагон приходит в движение. Темные фигуры слетают с нар, расхватывают поленья и выпрыгивают в дверь, в темноту.

Все громче доносится какое-то топанье, выкрики, удары, кто-то закричал надрывно и тонко, что-то тяжелое бьется о стенки вагона, на нарах остались человек десять, напряженно

прислушивающиеся к шуму драки, мату, грохоту.

— Сто-ой! — слышу я протяжный крик. — Прекратить! Стрелять буду, сволочи!

Выстрел. Другой. Третий.

В вагон влетают сразу несколько человек и разбегаются по нарам. Вот и остальные вваливаются возбужденной гурьбой, толпятся у печки, размахивают руками. Кто-то держится за голову и стонет. С грохотом летят на пол поленья.

— А межаков-то два вагона!

— Я тому лбу как дам по скуле, он и свалился!

— На меня двое потянули! Хорошо, Гришка выручил!

— Ну, робя, приготовься, межаки так этого не забудут!

— Из вагона по нужде не выйдешь!

— А сопровождающий-то! Вынял наган и палит!

А вот и он. В вагон впрыгивает сопровождающий. В руке его поблескивает наган. Он взбешен.

— А ну, все по нарам, мать вашу в гроб!

Его тон, а также вынутое оружие действуют безотказно: все моментально усаживаются по нарам и оттуда с интересом смотрят на него.

— Вы, робята, что? Ополоумели? — спрашивает он. — Кто драку начал?

— Межаки! — слышится сверху.

— Я вам дам — межаки! Вы ж на фронт едете, чего ж вам драться промежду собой? Еще раз задеретесь, буду стрелять не в воздух! Имею полномочия!

Сунув наган в карман, он выходит. Речь произвела впечатление. Напряжение ослабевает, народ начинает укладываться спать.

Я вспоминаю рассказы о межаках. Рядом с мантуровским районом лежит район, пересекаемый речкой Межой, отсюда название — «межаки». Межаки не выговаривают букву «з», вместо нее они говорят «ж», и за это их мантуровские дразнят «жмея», «жаража». Мантуровские и межаки испокон веков враждуют между собой. Если мантуровский парень оказывается в Межевском районе на гулянке, его избивают до полусмерти. Если межаку требуется идти по мантуровским селам, он старается днем отсидеться у кого-нибудь из знакомых и идет ночью. Мантуровцы не выдают девушек замуж в Межу, Межа не отпускает своих в Мантурово. Встреча группы межаков с мантуровскими всегда кончается жестокой дракой, иногда со смертельными случаями. Мантуровские все, конечно, отважные и лихие парни, межаки, напротив, — трусы и гады, не выговаривают «з», ихние девки носят панталоны из мешков,

жаражы…

Так что драка не могла не возникнуть, и это не конец: я вижу, как некоторые берут с собой поленья на нары, а Пашка Громов, шебутной и хулиганистый парень, точит большой складень о камушек.

Я укладываюсь спать на свое место в углу. Под головой вещмешок, из щелей вагона дует, я поднимаю воротник бушлата и опускаю уши у шапки. Теперь тепло. Что там делают сейчас Мирра и мама? Наверно, спят. А может быть, мама не спит и думает обо мне. Интересно было бы рассказать им про сегодняшний день. Когда же поедем? Стоим уже, наверно, около восемнадцати часов. Неужели вокруг меня люди, с которыми мне придется быть вместе все время в армии? Не может быть. Хотя, впрочем?.. Ничего не известно. Спросить не у кого. Печка, наверно, остыла…

Резкий стук в дверь вагона заставляет меня поднять голову.

— Мантуровские! — слышится снаружи чей-то высокий голос. — Не хотели замириться — всех ночью перережем!

Шарья

Равномерный стук под полом и качание вагона заставляют меня проснуться. Ого! Да мы едем!

Дверь растворили немного, и свежий ветер врывается в вагон. Мимо нашего громыхающего вагона плывут костромские леса, кое-где богатые, густые, кое-где чахлые; тянутся унылые ноябрьские поля — иногда под снегом, иногда бурые; пробегают деревни, все однообразно серые и бедные; мелькает будка стрелочника и сам он, с желтым флажком в руке; идут вдоль пути ремонтные рабочие, в основном женщины. И снова поля, покрытые снегом, и снова серые деревеньки и леса, машущие нам ветками…

В вагоне оживление, на короткой остановке кто-то принес ведро снега, и теперь его оттаивают на печке для чая. Снег шипит и тает, поверхность его быстро опускается в ведро, и скоро только треть ведра мутной воды напоминает о бывшей роскошной белой шапке.

Пашка Громов, Витька, самый длинный парень в вагоне, и Мишка Соколов, вчерашний рассказчик, — встают у дверей. Пашка поднимает щепку и бросает ее в проходящую тетку с мешком за плечами. Щепка попадает тетке по валенку, и раздается дружный хохот. Теперь уже все трое начинают кидаться щепой и поленьями в идущих мимо по насыпи, гогот, улюлюканье, свистки сопровождают каждое удачное попадание…

— Закрой дверь!

— Остудили вагон! — орут с нар.

Дверь задвигается. Начинается еда.

Свет падает из двух маленьких окошек, расположенных по обе стороны двери. Сидящие наверху освещены, сидящие внизу — в полутьме, печка бросает отсветы, телячий вагон трясется и громыхает, слышен гудок паровоза, шестьдесят парней грызут сухари, жуют сало, попивают кипяток из кружек.

— Скоро Шарья будет!

— На базар пойдем!

— На Шарье базар баский!

— Льни-ко кипяточку, паря!

— Эй, ты, в очках! Ты, чай, не угорский?

— Нет. Ленинградский.

Несколько голов поворачиваются ко мне.

— С самого Ленинграду?

— Да.

— Поди, в Ленинграде-то лаптей не носил?

— Нет. У меня ботинки были.

— Ишь ты! Ботинки! Все городские — дармоеды. Наш хлеб едят, а работать — ни-ни. Пущай колхозник работает.

— А очки чего одел? — спрашивает меня крупный бледный парень с покатыми женскими плечами и рыхлым нездоровым лицом, на котором тускло поблескивают маленькие круглые глазки. У него самый большой сидор, в нем, наверно, пуда полтора сухарей. — Чего очки одел? — повторяет он. — Для форсу?

— Нет, не для форсу. Глаза слабые — читал много.

— Читал? — Глаза рыхлого парня становятся чуть больше и вдруг пропадают совсем — передо мной просто мясо. Широкое серое мясо.

— Читал! Ха! — Он силится сказать что-то остроумное и вдруг выпаливает:

— Библиотека!..

— Эй, библиотека, — орет Пашка Громов, — у тебя карты есть?

— Нет.

— Что же ты за паразит такой?

— Сам ты паразит, — говорю я преувеличенно спокойно и медленно. — А карты, если бумаги дашь, могу нарисовать.

Это действует. Ко мне сразу обращаются несколько голосов, тон их дружелюбен. Небольшой плотный парнишка с красивыми глазами приглашает меня наверх на нары, вынимает из котомки вдвое сложенную ученическую тетрадку и не спеша, бережно выдирает оттуда листы.

Достаю из глубин бушлата огрызки красного и черного карандашей и принимаюсь рисовать карты. Меня окружают. Кто-то наваливается на плечо и дышит в ухо чесноком.

— Глянь! И вправду рисует!

— Даму валяй, чтоб с буферами!

— Быстрей рисуй! Играть охота!

— Да не дави ты на него, мать твою!

Никогда в жизни не рисовал карт. Поэтому тройки, семерки, десятки идут у меня сносно, а вот на первой же даме я спотыкаюсь, хотя добросовестно выполняю заказ на буфера. Начинаю вспоминать, как я в детдоме расписывал стенки сказками Пушкина, и это сразу наводит на верный путь. Там у Царевны Лебеди был роскошный кокошник — рисуем его даме, дальше коса, а одета она была в парчовое платье и телогрейку. Рисуем. Теперь красить. Количество цветов, мягко говоря, ограничено, но ничего — карта будет графичнее, а заказчик у меня невзыскательный.

Переворачиваю карту, рисую зеркальное отражение моей Царевны Лебеди, и вот уже карта готова и идет по рукам. Ее рассматривают, обсуждают, хвалят. Мне приятно. Я хоть в чем-то себя здесь нахожу.

Затем появляется король, похожий на Додона, и валет — вылитый князь Гвидон. Я принимаюсь за очередную карту, но в этот момент поезд резко тормозит, и я чуть не валюсь с нар на головы.

— Шарья! — кричит красивый парень в коричневом полушубке.

— Шарья! Шарья! — все бросают карты и устремляются к двери.

Мой новый знакомый — его зовут Вадим — собирает карты, аккуратно укладывает их между листов тетрадки и прячет ее в котомку.

— Пошли на базар! — Он улыбается и показывает ровные белые зубы.

— Зачем? У меня все есть, а денег мало.

— Так у меня их совсем нет, — отвечает Вадим.

— Зачем же идти на базар? — удивляюсь я.

— Да так! Поглядеть того-сего!

Вадим выпрыгивает из вагона и бежит за остальными.

Большая группа — человек двадцать — подходит к нашему вагону. Среди них выделяются четверо: трое огромных могучих парней, один другого выше и рослее, и невысокий, до невероятия широкий парень в армейской серой шапке, в сером ватнике и с бутылкой водки в руках.

— Межаки, — говорит кто-то приглушенно. С нар спрыгивают, молча теснятся у входа. Наших в вагоне осталось тоже человек двадцать, но, видимо, дерзкая уверенность в себе межаков действует на наших подавляюще, я чувствую, что они трусят. Четверо межаков лезут в вагон. Они все пьяны. Остальные полукругом стоят у двери в ожидании.

— Мантуровские! — кричит самый высокий парень и обводит всех смелыми наглыми глазами. — Мы же к вам мириться пришли, паражитов вас в гроб!

— На один фронт едем! — неожиданно высоким голосом вступает широкий.

Он замолкает и смотрит на нас мутным пьяным взглядом. Бутылку с самогоном он держит, как гранату, непонятно, что он сделает в следующее мгновение — приложит ее ко рту или запустит кому-нибудь в голову.

— Ну, верно я грю? — повторяет он. Тон становится угрожающим.

— Верно, паря, верно, — говорит наш долговязый Витька и выходит к печке. Тон его подобострастен, он как-то заискивающе улыбается.

— А верно — так выпьем! — высоко тянет широкий и сует Витьке в рот горлышко.

Витька глотает два раза и закашливается, самогон льется ему за воротник, широкий вырывает у него бутылку, пьет сам и потом изо всех сил бьет бутылкой по печке. Брызги самогона, осколки стекла летят во все стороны, все отшатываются, один осколок больно бьет меня по щеке. Я подношу руку к лицу. На пальце кровь.

— Кто это? — спрашиваю я тихо у соседа.

— Ленька Шабров! — отвечает так же тихо он. — Первый межацкий атаман, не гляди, что мал, а двоих уже зарезал! Сильный — страсть!

Между тем Ленька начинает выплясывать около нашей печки какую-то дикую чечетку, а трое огромных межаков лихо подпевают атаману, пол трясется, мантуровские, неподвижные и тихие, стоят вокруг.

Мы встречаемся взглядом с Ленькой, и он разом останавливается.

— А это кто такой? — спрашивает он и подходит ко мне. — Сопровождающий?

— Не, это с нами, ленинградский.

— Ленинградский? — переспрашивает Ленька, качается и ухватывается за меня, чтобы не упасть. Я чувствую, как он тяжел.

— А почему в очках?

Все смотрят на меня. А я смотрю на Ленькину правую руку, которой он крутит около моего лица, и мучительно вспоминаю, где я видел такую широкую кисть с короткими сильными пальцами, такую толстую грязную кисть, которая может шутя сломать мне руку или выбить глаз? Вспомнил! Зоологический музей в Ленинграде. Кисть гориллы на полированной деревянной дощечке. Только та была чернее и еще толще.

Ленькины глаза уставились на меня пристально и недобро. Его левая рука крепко держит меня за воротник бушлата, а правая продолжает качаться перед моим лицом. Надо что-то отвечать этой горилле. Что?

— Так! — неожиданно выпаливаю я. — Для форсу!

Ленька отпускает меня.

— Для форсу? Ах ты, хезо поросячье, для форсу!.. А он — ласковый! — говорит он своим друзьям и первым вылезает из вагона.

Вся ватага, с пеньем переплясом и гиканьем уходит, оставляя

запах самогона и хрустящие под ногами осколки.

— Шо у вас тут? — появляется Пашка Громов, за ним красивый в полушубке, с ним еще десяток наших.

— Межаки приходили! Ленька Шабров сам пожаловал!

— Ну? Били?

— Не. Замирение было. Мириться пришли!

— А я водку с ними пил!

— А ленинградский-то! Не сдрейфил!

— А вы почто сдрейфили? Били бы их, сволочей!

— Тебя дожидались! Поди стыкнись с Ленькой! Он те кишки выпустит!

— А мы вот чего промыслили! — хвастает Пашка и с грохотом высыпает из-за пазухи кучу пшеничных пряженников.

Кто-то вынимает кусок вяленого мяса и начинает тут же его жевать, на нары высыпаются булки, пироги, сухари, один даже под общий смех ставит миску с овсяным киселем, и несколько человек лезут к нему с ложками…

Вагон наполняется. Шум, крики похвальба.

— А я у той тетки — раз! — пряженники — и ходу! Она блажит!

— А мы с Митькой, — задыхаясь от смеха, говорит парень в белой козьей шапке, — у бабы бидон молока поддали! Все молоко на землю! Баба матерится! Митька все лапти в молоке намочил!

Митька действительно снял лапти и сушит онучи у печки. Вагон хохочет. Лапти, полные молока, умиляют всех.

— Весь базар разбежался!

— Будут помнить мантуровцев!

— Да и межаков тожа!

— А старуха-то, та и ныне ревёть!

Я смотрю на все происходящее с изумлением. Что это? Удаль молодецкая? Грабеж? Все эти молодые парни — из голодных военных деревень, прекрасно знают, какая сейчас цена бидону молока или десятку пирожков, и вот так, за здорово живешь, без всякой к тому нужды — ведь все котомки полны всякой снедью, — они грабят старух, женщин, вынесших на жалкий шарьинский базар свои несчастные пирожки или сухари, оторванные от голодных детей!

Я не могу поверить своим глазам, меня что-то придавливает.

У нас в детдоме воровство преследовалось жестоко, за каждую уворованную репу или морковку, не говоря уже о казенных простынях и наволочках, обмененных на продукты у крестьян. Виновника наказывали, прорабатывали на линейке, изредка лишали обеда, а главное, укравший мальчишка или

девчонка становились на долгое время объектом презрения и недоверия. Позорная кличка «вор» стиралась месяцами честного поведения, постоянным контролем, и как были счастливы глаза ребят, когда о ком-то из них, когда-то нечистом на руку, воспитатель говорил убежденно: «Юре Власову можно поручить раздавать сахар. Он не украдет!» А здесь, среди бела дня на моих глазах происходил массовый грабеж! Мало того, этот грабеж идет как веселая потеха, как лихая мужская игра!

— Эй, ленинградский! — прерывает мои мысли знакомый голос сверху, и Вадим наклоняется ко мне, сверкая улыбкой. — Пряженников хошь? — Он протягивает мне два румяных картофельных пирога.

Как, и он тоже? Такой симпатичный парень!

— Нет. Я не хочу, у меня свое есть, — говорю я и отворачиваюсь.

Вадим искренне огорчен.

— Как хошь. Они свежие! — И откусывает половину пряженника. Желтоватое картофельное пюре торчит из серой оболочки пирога.

— Библиотека ворованного не жрет! — объявляет рыхлый парень. — Ей купленного мама подавала!

Раздаются смешки.

Я чувствую, что надо укоротить этого рыхлого парня, так как он наглеет все больше. Я подскакиваю к нему, хватаю его за горло и ору дико:

— Ты, сволочь, еще раз скажешь «библиотека» — вся морда в крови будет!

Он отталкивает меня, и секунду мы стоим друг против друга. Вагон с интересом следит за начинающейся дракой, я чувствую себя на нервном подъеме, злость за все увиденное кипит во мне, пусть тронет — буду бить в эту серую морду, пока сил хватит!

— Ну, погоди, сука! — говорит он и отходит.

Поезд трогается, снова равномерный стук, снова погромыхивает телячий вагон, унося нас в серую снежную даль.

Учусь жить

Трудно вспоминать то, что было двадцать — двадцать пять лет назад. События тускнеют, покрываются мутью времени, на них наслаиваются другие, более свежие; однако отдельные эпизоды ярко проступают, они отчетливы и рельефны, как будто были вчера, они отпечатались в памяти твердым чеканом дикого или страшного, и, вероятно, это уже на всю жизнь.

Ночь. Мы едем четвертые сутки. Едем невообразимо медленно. Подолгу стоим на промежуточных станциях, а то и просто в поле, нас то и дело отцепляют и прицепляют, и ставят в тупик.

Жизнь учит меня грубо и жестоко. Я уже не психую и не лезу в драку, когда на каждой остановке человек тридцать срываются громить базар, а только с тоской гляжу, как разбегаются бабы, утаскивая свои нехитрые пожитки, уже не замечаю ежедневных трофеев с базара, жадное, скотское поглощение их, а то и просто игру трофеями. Летят в прохожих из вагона вареная картошка, куски хлеба, кости от мяса…

Два эпизода запоминаются мне. Девочка лет десяти, закутанная в большой серый платок и в больших материных валенках, останавливается и подбирает кусок сухаря, которым ей залепили по спине, прячет его в рукав какого-то драного полупальтишка и стоит, ждет — может быть, еще бросят?

Двое парней притаскивают в вагон ведро овсяного киселя и сразу же закрывают за собой дверь.

— Бегить бабка за нам! — объясняют они, вынимают ложки и начинают хлебать кисель. Их окружают еще четверо, кисель — это вкусно, ведь мы все время едим всухомятку, иногда размачивая наш рацион кружкой кипятку, нацеженного на станции, а тут — кисель! Целое ведро!

Мне слышен старушечий голос за дверью, жалобный и монотонный.

Слов не разобрать, но ясно, что просит она отдать ведро, просит безнадежно, не надеясь на удачу. Скулит старуха за дверью, с аппетитом чавкают шесть ртов в вагоне.

Через некоторое время раздается властный стук в дверь.

— Открывай!

Мы слышим голос сопровождающего. Ведро быстро убирают под нары, ложки за онучи. Дверь открывается.

— Ведро брали? — строго спрашивает он.

— Не… Како ведро? — тянет смуглый парень, тот, что

рассказывал о девках.

— Я говорю — где ведро? — повышает тон сопровождающий. Меня охватывает радость. Сейчас он отнимет у них добычу, а этих сволочей…

— Вот что, робята! — говорит сопровождающий. — Бабка шум подняла, могет охрану станции вызвать. Вы кисель-то съешьте, а ведро бросьте ей, пусть подавится!

Смуглый берет ведро, открывает двери с другой стороны вагона и выкидывает ведро с остатками киселя под насыпь.

Сопровождающий уходит. Все довольны. За дверями бряканье пустого ведра и удаляющиеся всхлипывания.

Еще одно воспоминание.

Поздно вечером, когда вагон укладывался спать, к нам постучали, а затем в вагон влез пожилой мужик, за ним другой, помоложе, с сундучком, а за ними… толстая девка с косами…

— Дозвольте до Котельнича проехать, робята! — говорит пожилой, пристраивая котомку и располагаясь, но его никто не слушает, появление девчонки в вагоне встречается многоголосым ревом:

— Глянь! Баба!

— Вот это конпот! Вот это товар!

— Ташши ее на нары!

— Ну, робя, вставай в очередь!

— А, мать твою в душу, — грудастая!

— А вон с ей старик!

Я весь холодею, и сердце начинает быстро биться. Я слышу, как уже прыгают с нар, вижу, как испуганно прижалась к старику девчонка, а поезд трогается в эту минуту и набирает ход! Сейчас произойдет что-то страшное, я не дам тронуть ее, буду биться хоть с половиной вагона, пусть меня изобьют, искалечат, не дам! Сколько их вокруг? Шесть? Семь? Пускай! Рука нащупывает полено. Вот сейчас! Сейчас…

И вдруг раздается веселый пропитой голос старика:

— Старик? Хто сказал старик? Старик-то старик, а… — то стоит! — как-то очень смачно добавляет он, и шутка встречается общим гоготом.

— Вот что, робя! — добавляет он. — Вы мою дочкў не троньте, она болящая. А я вам табачку насыплю, самосад у меня хорош!

И как-то неторопливо достает большой, туго набитый кисет. Руки тянутся к нему, он сыплет каждому, каждому говорит какую-то поговорочку-двусмыслицу, и вот уже напряжение спало, парни, балагуря, понемногу расползаются по нарам, дымят, укладываются.

А старик ведет уже негромкий разговор про армию, спрашивает, куда мы едем, пересыпает матерком, прибаутками. Парни подхихикивают, дымят стариковским самосадом.

Я бросаю ненужное полено. Вот тебе и старик! Одной шуткой повернул все дело, а я-то… полено… Мне бы так уметь!

Я укладываюсь и долго не могу уснуть. Слушаю многоголосый храп. Все предыдущие дни утром и вечером дебатировалась одна и та же тема: как бы затащить бабу в вагон! И все эти дни я нервничаю, когда группа парней отправляется на какой-нибудь станции «на охоту». Я уже примирился с грабежом, мне кажется теперь детской забавой кража пакли из букс, примирился даже с тем, что вчера при мне, может быть, убили обходчика, но примириться с тем, что рядом со мной «сделают», как они говорят, девчонку, я не смогу, никак не смогу.

Старик спит, открыв рот и привалившись к печке. Спит и его молчаливый спутник. Девчонка не спит, а к ней крадется красивый Митька, в коричневом полушубке. Он присаживается к ней на сундук, что-то шепчет ей и обнимает ее за плечи. Она не возражает, не отталкивает его, к моему удивлению. Печка бросает отсветы, они то появляются, красные от огня, то исчезают в темноте. Дочь ли она старику? Может быть, случайная попутчица? Шепот слышен сквозь храп, вот раздался ее смех, вот его. Печка вспыхивает, и я вижу, как Митька лапает девку, а она смеется. Темнота. Ну, черт с ними! Раз она не возражает…

Я укладываюсь поудобнее, опускаю уши шапки, поднимаю воротник. Мысли переносятся назад, к путевому обходчику. Пашка и рыхлый сегодня, как всегда, развлекались у дверей, кидая поленья в проходящих у насыпи. Вдруг Пашка схватил большой кряж и, выглядывая из вагона, стал ждать. Потом ухнул, бросил кряж, и сразу они захлопнули дверь, и попрыгали на нары. Я выглянул в верхнее окно и увидел, как на насыпи раскинулась фигура с желтым флажком. Около головы — кряж. Поезд уходил все дальше, а фигура все лежала на снегу, и рядом темнел кряж.

Кто погиб так бессмысленно от руки скота и хулигана семнадцатого ноября 1943 года, на линии Котельнич — Горький? Никто не знает, да и не узнает никогда.

Почему я не рассказал тогда об этом никому? Почему не поднял шума, не потребовал на первой же станции снять бандитов с эшелона? Почему? Во-первых, теплилась трусливая мыслишка: он не убит, а оглушен. Отлежится — встанет. А главное — слишком много навалилось на меня тогда сразу, чтобы я мог отделить крупное преступление от мелкого, хулиганство от бандитизма. Все вокруг меня казалось каким-то черным сном, который должен скоро кончиться, пройти, исчезнуть… Когда мы

приедем на место, начнется регулярная жизнь в Красной Армии, настанет порядок, дисциплина, плохое покарается, хорошему воздастся…

И дальше катится телячий вагон, унося с собой шестьдесят судеб, запах махры и дегтя, горящего в печке, разноголосый шум, топот лаптей, нехитрые деревенские частушки и тревожное ожидание будущего.

А пока… Пока идет разгул. Все больше остается за нами разгромленных базаров, опрокинутых бидонов с молоком, пролитых бабьих слез и пьяной похвальбы потом.

Я как-то спросил Вадима — зачем? — и услышал ответ, поразивший меня своей первобытной логикой, чем-то напомнивший мне прочитанное о Золотой Орде:

— Все едино помирать едем, хоть гульнем напоследок!

И гульба идет. Сопровождающий почти не показывается, и я смотрю на него уже совсем иными глазами. Я случайно подглядел, как на днях с ним делились ворованными булками, и он взял! Спокойно засунул одну в рот, две за пазуху и вышел из вагона.

Сегодня утром впервые грабящим был дан отпор. Двое парней из нашего вагона подскочили к женщине и, как обычно, потехи ради, опрокинули ее большой бидон с молоком, — женщина охнула и бросилась его поднимать, остальных баб как ветром сдуло с длинного стола под навесом — импровизированного станционного базарчика.

И вдруг высокий мужчина в ватнике и сапогах подбежал к нашим и пошел работать! Левой, правой, левой, правой! Как у машины, замелькали кулаки! Один из парней упал, второй побежал, но мужчина догнал его, толкнул в спину и лежащего долго охаживал сапогами. Мне слышен был крик, потом я увидел побитого, пробирающегося к эшелону. Руками он закрывал лицо. Из-под пальцев сочилась кровь.

Снова остановка. На этот раз большая — Горький.

Надо пойти набрать кипятку, мы уже седьмые сутки живем всухомятку. Два раза мне удалось купить себе молока, но случайно, так как весь базар, как правило, разбегается, видя идущих с эшелона призывников.

Горький я проезжал уже раз, когда мы ехали с детдомом в Угоры. Но я ничего не помню здесь, кроме того, как мы тащили через пути какой-то котел с супом, как уронили его, и треть супа, со всем маслом, плававшем сверху, вылилась на шпалы. Сейчас мне тоже приходится лезть под многими составами, я прохожу длинный путь, чтобы выйти на вокзал. Вот и краны, над

которыми написано «хол. вода» и «кипяток». Наполняю кружку и с наслаждением пью горячую воду, затем вторую кружку, третью. С четвертой возвращаюсь, ища дорогу к своему эшелону.

Вот один состав позади, другой, вот ветка, на которой стоит наш состав, паровоз гудит, я убыстряю шаг. А может, не наш?

Какой-то шум идет от эшелона, как будто большой барабан бьет гулко и не в такт. Ныряю еще под вагон, вылезаю с другой стороны и останавливаюсь.

Дальше идти нельзя. Прямо пред нашим эшелоном стоит товарняк из десятка платформ, груженных ржавым металлоломом. За товарняком стоит еще один эшелон с призывниками, который подъехал за время моего отсутствия.

Несколько десятков парней из чужого эшелона стоят на платформах с ломом и бомбардируют наши вагоны какими-то ржавыми пластинами. Из дверей наших вагонов в них летят поленья. Ржавые плитки влетают в двери, бьются о дощатую обшивку вагонов, из нового эшелона вырывается ватага, человек в тридцать, на помощь своим, и стук барабана становится чаще. Двери нашего эшелона захлопываются, окна опускаются, победа за вновь прибывшими. Они стоят недалеко от меня, разгоряченные боем, некоторые без шапок, и что-то кричат нашим, держа в руках плитки.

Гудок! Наш эшелон трогается!

Мгновенно соображаю. Для того чтобы догнать его, мне нужно пробежать немного, метров двадцать от вагона, где я укрывался, но эти двадцать метров нужно бежать в открытую.

Поезд медленно удаляется, метр за метром, каждая секунда, проигранная здесь — это метры, проигранные там, в погоне за последним вагоном.

Была не была! Я выливаю ненужный кипяток, запихиваю за пазуху кружку, пулей выскакиваю из-за вагона и бегу по шпалам, подгоняя себя. Вот уже недалеко последний вагон. Я вижу его высокую подножку и нажимаю еще!

Крик. Меня заметили. Обломок ржавой трубы звякает о рельсу за мной. Ходу!

Вот уже и тонкий поручень вагона, хватаюсь за него. Поезд набирает ход. Мелькают платформы с ломом, фигуры, машущие руками; железная плитка брякает об обшивку вагона метрах в двух от меня. Рывок — и я на открытой площадке последнего вагона-теплушки. Сразу перебегаю на другой край площадки — здесь меня не достанут плитки. Вот и все. Я в безопасности. Уплывает назад станция, поезд идет уже бойко.

Прощай, Горький! Мое второе знакомство с тобой запомнится мне лучше первого.

Вязники

У меня кончаются все запасы еды, взятой из дома. Никто не думал, что путь окажется таким долгим, и меня снабдили продуктами на неделю. Надо что-то предпринимать.

На первой же остановке в Вязниках я решаю сменять зеленую эмалированную кастрюльку, в которой у меня было мясо, на что-нибудь съедобное.

Узнаю у сопровождающего, сколько простоит эшелон, и получаю ответ:

— А кто его знает… Отлучаться нельзя.

То, что отлучаться нельзя, мне известно, но мне известно также, что мы стоим на маленьких станциях иногда часами, и, дождавшись, когда сопровождающий исчезнет, я отправляюсь в город, так как на станционном базаре ничего не сменяешь — с приходом нашего эшелона он моментально опустел.

Перехожу пути, перелезаю рельсы под двумя составами, миную платформу, здание вокзала и бегу по заснеженной улице в гору — к домам.

В нескольких одноэтажных бревенчатых домах мне отказывают — моя кастрюлька никому не нужна, но наконец мне везет. Пожилая женщина дает мне за кастрюльку три довольно больших картофельных пирожка с луком.

Заворачиваю их в тряпку и кладу за пазуху, они еще теплые. Бегом поворачиваю назад, к эшелону, чем черт не шутит, на мое несчастье, может как раз сегодня уйти сразу!

Платформа. Стоят товарняки, которые закрывают собой наш эшелон. Подлезаю под один, потом под другой…

Где же наш?

Светлые рельсы убегают вдаль и сходятся там в одной точке.

Эшелона нет.

В полной растерянности стою на шпалах, потом срываюсь с места, опять пролезаю под составами и дую по платформе к высокому переходному мосту над путями — может быть, эшелон не ушел, а его просто перевели на другой путь.

Одним духом взлетаю по лестницу и носом к носу сталкиваюсь с Вадимом.

— И ты тоже!

— И я!

— А эшелон-то где?

— Да, видно, ушел, паря!

— Вот так номер! Что ж теперь делать будем?

Вадим разводит руками, он растерян так же, как и я.

— Знаешь что — пошли к начальнику станции.

— Во — это ты ладно придумал, паря!

Вадим веселеет и улыбается. Улыбка у него хорошая — во весь рот, зубы белые, сам он открытый и приветливый. Хорошо, что отстал именно он, самый симпатичный из вагона.

Мы находим начальника станции. Пожилой усталый железнодорожник в красной шапке посылает нас к военному коменданту. Мы проходим небольшой, битком набитый людьми зал и стучимся в дверь с надписью «Военная комендатура». Не получаем ответа. Нажимаем на дверь и оказываемся в небольшой душной комнатке.

На стене висят портрет Сталина и карта фронта. У стола коменданта, который, несмотря на жару, сидит в шапке-ушанке, стоят три человека и о чем-то с ним спорят. Столбом стоит табачный дым. На нас никто не обращает внимания. Мы долго переминаемся у дверей, потом я решаюсь обратиться:

— Товарищ комендант!

Ушанка поворачивается ко мне. Комендант небрит, на гимнастерке оторвана пуговица, и сквозь прореху сереет нижняя рубаха.

— Ну, чего еще? Кто такой? Почему вошел без разрешения! Марш отсюда!

— Товарищ комендант! — стараюсь говорить спокойно и с достоинством, наверное, это выглядит смешно. — Вы не кричите на меня. Мы стучали, но нам не ответили. Мы призывники. Отстали от своего эшелона.

В комнате становится тихо. Присутствующие оборачиваются к нам, а комендант, опираясь на кулаки, привстает над столом и, сверля меня взглядом, вдруг понижает голос до зловещего полушепота:

— Дезертировать хотите, мать вашу?..

Вся кровь бросается мне в лицо.

Дезертировать! Да как он смеет! Кому говорит! Да я последние месяцы в детдоме только и жил тем, что скоро в армию, скоро на фронт! Да если бы он знал меня! Я же комсомолец! Я же… Я теряю дар речи.

— Да кабы мы дезертиры были, неужто сюда бы пришли, — слышу я от дверей спокойный Вадимов голос, — мы б тогда по домам…

Вот молодец — нашел слова! И без высоких материй.

Комендант еще некоторое время рычит на нас, пугает трибуналом, штрафной ротой, но вскоре до него доходит, что лается он зря, и он велит нам сесть в пассажирский поезд,

который идет через час в Ковров, и догнать свой эшелон.

Мы выходим, а я все не могу успокоиться — «дезертир»!

Вадим же весел и беспечен и тянет меня в другой зал — поглядеть немцев.

— Немцев? Каких немцев?

— Пошли — сам увидишь!

В углу второго зала на полу расположились десятка два солдат. Разговаривают они между собой по-немецки.

Вокруг них молчаливая толпа баб с мешками, ребятишек, какой-то старик с костылем в упор рассматривает их, и мы с Вадимом не отрываем от них глаз.

Живые немцы! Откуда? Кто такие? Почему в нашей форме? Куда едут? Почему здесь? Вопросы, десятки вопросов прыгают мячиками в толпе, рождают ответы, версии, порой нелепые, порой похожие на истину.

Одна из версий — пленные, перешедшие на нашу сторону и теперь едущие на фронт.

Другая — немцы Поволжья, специальная часть.

Никогда не видел немцев, но все, что связано с этим словом, рождает злобу, ненависть и отвращение.

А вот эти — люди как люди, мирные, обычные… Сидят, курят, едят из белых чистых эмалированных мисок, несколько человек спят на полу. Впрочем, нет, отличаются, — какой-то удивительной в этом зале опрятностью. Она в мелочах — аккуратные скатки, сверкают белой эмалью миски, все солдаты чисто выбриты.

На станционных часах без четверти шесть. Засмотрелись мы на немцев, чуть поезд не прозевали! Мчимся искать пассажирский. Залезаем в вагон и потрясаемся комфортом: деревянные крашеные скамьи, электричество. Поезд трогается, и мы еще раз удивляемся — как плавно и почти бесшумно он идет! Разве можно сравнить с лязгом и грохотом нашей дребезжащей теплушки? Живут же люди — каждый день в таких поездах катаются!

Однако наши соседи — рабочий люд, едущий в Ковров на работу во вторую смену, — видимо, не замечают своего благополучия. Лица их сосредоточенны и хмуры, многие спят сидя.

Ковров.

Выскакиваем из вагона и в темноте с трудом находим наш эшелон.

У вагона сопровождающий встречает нас руганью, но мы, не обращая на него внимания, залезаем в свой вагон.

Нахожу свой темный угол и с радостью растягиваюсь на

досках. Мой угол, родной.

Фонарь

— Эх, кабы фонарь! — который раз вздыхает Пашка Громов.

Фонарь — мечта всего вагона. С половины дня в вагоне темнота, нельзя играть в карты, двери не откроешь — ноябрьская стужа мгновенно выдувает все тепло, и печку нужно снова долго калить, а дров, хотя мы их тащим отовсюду, и на топку, и на «забавы», не хватает. В вагоне холодно, грязно и темно. Мы уже седьмые сутки не моемся, мыться негде, воды нет. Снегом не умоешься, да и весь снег вокруг путей загажен. Я вспоминаю, как Мирра настаивала, чтобы я положил в котомку зубную щетку… Этой ночью я спал около печки на дровах. Там теплее. Утром подумал — оказывается, можно хорошо спать на дровах. Сказали бы раньше — не поверил. Только все лицо оказалось в золе. Оттер снегом и платком. Платок стал черным. Ну и черт с ним! Опять стоим. Кто-то латает одежку, кто-то спит, слышен хруст разгрызаемых сухарей, в углу вагона ссорятся-ругаются.

Я топлю печку. Мне нравится смотреть на пламя, нравится чувствовать, как жарится кожа на лице, видеть, как исчезают черные поленья в гудящей красноте. Печка — друг, верный и единственный здесь, я могу часами сидеть, согнувшись пополам, около нее, подкидывая поленья, глядя в огонь и уходя мыслями далеко-далеко. Мы вдвоем с ней отлично понимаем друг друга. Я кормлю ее, она меня греет, она молчит, и я молчу, а ровное гудение пламени, вспышки и затухания располагают к раздумью.

В вагон влетают Пашка, длинный Витька и смуглый атаман из Шулева. Дверь моментально захлопывается с треском. В руках у них фонарь «летучая мышь», на рожах торжествующее выражение.

— Фонарь! — ахает вагон.

— Тихо! — шипит Пашка, и они прислушиваются к чему-то за стеной. Мы тоже. Тишина. Только тоскливые гудки где-то вдалеке.

— Зажигай!

К фонарю подносят лучину, и свет, тусклый, желтый, от дрожащего фитилька, но свет, разливается по вагону.

Общая бурная радость. Топот. Откуда-то появляется бутылка, ее торжественно распивают в центре вагона.

Начинается пляс. Пляшет коричневый полушубок, высоко вскидывая брови-стрелы. Пляшет длинный Витька. Морда у него вытянутая, а подбородок безвольный. Пляшет, сверкая зубами и хлеща себя по онучам, мой Вадим.

Пашка заводит одну из угорских частушек, и вагон

подхватывает припев.

— Эх, по деревне шла и пела, — нагибаясь от натуги, орет Пашка.

Пауза, выдох.

— Девка здоровенная… — рявкает вагон, а затем быстро, с перебором, вместе: — Жопой за угол задела, заревела, бедная!

— Заревела, бедная, — вторят снова, уже медленно, здоровые глотки, и без перерыва, сразу, начинает запевку другой частушки Пашка: — Из тюремного окошка посмотрю на Вологду… — Пауза. Танцоры останавливаются.

— Посмотрю на Вологду! — оглушительно, чеканя слова, и сразу же мелким бесом, задорно и неразборчиво: — Приняси, залетка, хлеба, помираю с голоду!

Стук лаптей, все новые танцоры вступают в круг.

Еще ни разу не было такого веселья в вагоне!

А из нагана дали выстрел…
Эх, по реке пошел туман,
Што ты голову повесил,
Наш веселый атаман?

Гремит вагон, шумит, стучит пол под ногами, светит фонарь над нами.

Пашке все мало. Он придумывает дурить по-другому и, смастерив из двух лучинок крест, поднимает его, вышагивает по кругу и, подражая где-то слышанному, поет:

— Иже еси, хосподи на небеси…

Хохот, крики, за Пашкой пристраиваются еще трое и шагают за ним по кругу, голося:

— Иже еси, мать твою ети…

Сильный стук, чем-то тяжелым справа в двери. Громкий собачий лай. Повелительный голос:

— Открывай!

И тишина…

Смуглый прыгает к фонарю, срывает его с крючка, дует на огонь и кидает под нары. Пашка перехватывает фонарь, и они устремляются к противоположной двери, чтобы выбросить его с другой стороны. Лихорадочно отдергивается задвижка, отворяются двери… и оба отскакивают назад, роняя фонарь на пол.

В вагон с лаем вскакивает огромная немецкая овчарка, двери распахиваются широко. Три фонаря освещают нас, и я вижу в дверях семь или восемь рослых солдат в форме НКВД, с винтовками. У двоих в руках топоры, видимо, для того, чтобы

взломать двери, если потребуется. Секунда — и они в вагоне. Офицер с трудом сдерживает рвущуюся овчарку, потом передает поводок одному из солдат.

— Кто фонарь отнимал? — спрашивает он, обернувшись назад, и из-за его спины появляется немолодая заплаканная женщина в железнодорожной форме. У нее усталое лицо, на щеках пятна.

— Вот этот, — сразу указывает она на Пашку.

— Ах, вот этот! — тянет, как бы удивляясь, офицер и вдруг резким ударом в поддыхало валит Пашку с ног. Тот, задыхаясь, глотает воздух ртом и сипит где-то внизу.

— И вот этот длинный, — показывает железнодорожница на Витьку, который обалдело смотрит на происходящее. Рот у него открыт, глаза мигают.

Витьку бьют сразу двое солдат. Один в лицо, другой в живот ногой. Овчарка отчаянно рвется на нас, оскаля пасть и задыхаясь от рычания. Витьку хватают, закручивают руки, а он ревет тонко и жалобно, слезы обильно текут у него по лицу, и дико видеть, как такой громадный парень превращается в мгновение в ребенка и зовет мамыньку.

— Кто еще?

Железнодорожница оглядывается. Мы стоим все тесным кругом, а фонари освещают наши лица, и за светом фонаря бежит испытующий взгляд женщины.

— Не вижу я его, — растерянно говорит она, — но вагон я точно заметила. Сюда побегли…

— А ну, Ефремов, свети сюда, — командует офицер и поднимается на нары.

— Эй, ты, морда! Проснись! А ну, лезь отсюда!

С нар появляется атаман. Он трет глаза кулаками и жмурится от яркого света фонарей.

— Поспать не дают! Чего надо-та?

— Может, этот? — спрашивает офицер.

— Этот! — кричит железнодорожница. — Этот главный бандюга и есть. Он меня сзади обхватил лапищами, рот зажал да приподнял, а эти двое фонарь вырывать — и деру!

Раз! — хлестко раздается в вагоне. Раз! — мотается голова у атамана, изо рта течет черная струя. Двое держат его, офицер бьет, атаман молчит.

— Все, что ли? — кричит офицер. У него молодое и острое лицо.

— Пошли! Этих — взять! А вы, сволочи, запомните!

Витьку, Пашку и атамана уводят. Стук закрывающейся двери. Тишина. Темнота.

— Вот-те и беседки с фонарем, — говорит кто-то.

Мы лезем на свои места. Я укладываюсь и слышу, как Вадим убежденно говорит:

— А все отчего? Оттого, что молились с матюгами!

Муром

Уже темнеет, когда поезд останавливается на какой-то станции и нам приказывают выходить из вагонов.

— Всем?

— Всем, всем! Выходи, приехали! Муром…

Наконец-то! Весело вываливаемся из нагонов, утаптываем грязный снег у колес.

— Стройся!

Вот и конец странствиям! Начинается армия. Наконец-то будет порядок и дисциплина. И вообще начнется жизнь!

— Шагом марш!

Наш сопровождающий остается у вагонов, а команду принимает на себя незнакомый лейтенант в серой шинели. Золотые погоны непривычно блестят на плечах.

Мы минуем несколько кварталов каменных двухэтажных домов. Проходим площадь и останавливаемся у серого здания.

Пропускной пункт. Открываются ворота, и нас заводят в большое полутемное помещение, какой-то узкий зал на первом этаже.

Шум, гам, выкрики сразу оглушают нас.

Вдоль стен расположены высокие трехэтажные нары — они битком набиты людьми. Плоские лица торчат в полутьме бледными гроздьями из темных четырехугольных проемов нар.

Куда же нас? Здесь же все занято…

Мы проходим до конца зала и садимся на пол, теснясь друг к другу, а в помещение входят новые группы. Пришедшие втискиваются, уплотняются вслед за нами. Скоро весь проход уже забит, людской поток все не кончается.

Наконец дверь закрывают. Можно осмотреться.

Со всех сторон нас разглядывают люди, лежащие на нарах. Слышна украинская речь. В одном углу начинается драка — наш парень недоглядел свой сидор, и его утянули на нижние нары.

Украинцы просят у наших табаку, хлеба, сухарика. Наши отругиваются, ближе придвигая к себе мешки. Мне опасаться нечего, мой небольшой черный вещмешок пуст и не привлекает ничьего внимания, но объемистые мешки моих совагонников, как магнитом, тянут обитателей нар.

Мы в распределительной роте. Здесь формируют отдельные соединения, сюда приходят «покупатели» — офицеры из различных частей и родов войск — и набирают себе людей. Распредрота — как бы полуфабрикат, сырье армии, пересыльный пункт, своеобразная мешалка человеческих судеб.

Постепенно мы рассасываемся по помещению и занимаем освободившиеся места на нарах. Все перемешались, рядом со мной ни одного знакомого лица, стоит табачный дым, тускло светит лампочка. Внизу начинают петь украинскую песню. Песня мне незнакома, но поют красиво — на два голоса, мелодично.

Вот и кончился путь из Мантурова. Начинается новый этап. Уложив удобнее вещмешок под голову, засыпаю.

Ночью вся распредрота просыпается от дикого крика. Человеческие тени рядом со мной лезут на шум к краю нар. Я тоже перегибаюсь через дощатый край и вижу в полутьме две бегающие фигуры.

Рослый детина в форме гоняется за щупленьким парнишкой и бьет его, выкрикивая ругательства, а тот, закрыв голову руками, мечется от него в разные стороны и кричит что-то, плачет.

Сквозь поднявшийся общий гул различаю — парень кричит, что не брал никаких часов, а детина, изрыгая десятиэтажный мат, требует часы и бьет его, бьет наотмашь, беспрерывно и жестоко.

С воем тот увертывается и выбегает в дверь. Преследователь вырывается за ним, за дверью слышен крик часового, потом звуки затихают, но начинается перебранка и грохот в помещении.

Оказывается, что наши парни, устроившиеся на верхних нарах, положили свои мешки под головы и заснули, а украинцы снизу, в промежутке между стеной и нарами, прорезали бритвами несколько мешков и вытащили оттуда почти все содержимое.

Драка. Вопли. Стук падающих тел. Мелькающие тени. Ругань. Хрип… Часовой подает тревогу.

В зал врываются вооруженные винтовками солдаты и пускают в ход приклады. Какой-то офицер долго матерится. Я уже не удивляюсь этому, — наверное, мат — нормальная форма обращения в армии. А как же по-другому с таким народом?..

Остаток ночи мне не спится.

Нас выводят завтракать. Ура! Первый завтрак в армии! Интересно, чем же накормят? До чего же хочется горячего!

Столовая. Ряды грязно-серых столов. Серые скамьи. Нас заводят и усаживают по команде за столы.

Можно вынуть ложку из кармана и ждать. Дежурные солдаты в форме кидают на каждый стол по буханке. Хлеб разрезают на восемь паек, все сидящие за столом внимательно и неотрывно смотрят за режущим. Одна горбушка оказывается толще других, и к ней сразу протягивается несколько рук. Мгновенная стычка, брань, пайки расхватывают, я медленно забираю последнюю. Неужели так — всегда? Дежурные бухают на стол железный бачок с супом и груду серых мисок, после чего начинается главное —

раздача супа. Сначала разливается жижа, потом считаются картофелины на дне и раздаются всем поровну. Небольшой кусочек мяса руками выкладывается на стол и режется перочинным ножом на восемь сантиметровых кусочков.

Беру миску в руки — она вызывает омерзение. Сделана она из жести консервных банок, грубо спаяна, неровные края царапают руки, вся она липкая и мокрая. Не моют посуду здесь, что ли?

Вынимаю из кармана носовой платок и, хотя он далеко не первой свежести, тщательно вытираю им миску. Что такое? На меня смотрит весь стол. Кто-то усмехается, кто-то презрительно бросает: «Тилигент!»

До меня доходит: что-то я делаю не так, нельзя быть белой вороной… Подставляю свою миску для супа. От мяса отказываюсь — стол был ужасный, и рук здесь никто не моет.

С первой же ложкой я раскусываю какую-то гадость и выплевываю гнилую картофелину на стол. К ней немедленно протягивается рука, и худой солдат с большим родимым пятном на щеке отправляет ее себе в рот.

Смотрю на него с изумлением и жалостью, а потом не выдерживаю и спрашиваю:

— Слушай, ты откуда?

— Да з Полтавы…

Ну что же, тогда понятно.

— Это ты в оккупации так похудел?

— Ни. В оккупации я хорошо жил. То я в червоной армии так дойшов. Ужо три мисяця кантуюсь…

До меня не сразу доходит, что червоная армия — это Красная Армия, а потом — как обухом по голове!

Что это? При немцах ему, видите ли, было хорошо, а в Красной Армии плохо? Предатель или провокатор?

Смотрю на него во все глаза, а он быстро доедает свой суп и, видя, что я бросил ложку, спрашивает:

— Может, дасышь мне супчику?

Нет. Лучше я вылью, чем дам такому гаду… Но вообще-то он такой с виду простодушный и жалкий… И потом, если здесь всегда так кормят… Нет, не может быть! Это же еще не армия, а распределитель какой-то. Вот в армии, в постоянной части, где нас будут обучать, — там будет все по-другому, и еда будет настоящая. Ведь мы же армия, нас обязаны хорошо кормить — «Все для фронта, все для победы!»

А парень, наверное, провокатор…

Курсантская рота

После трехдневного пребывания в Муромском распреде нас перемешивают, составляют новые списки и объявляют, что мы остаемся в Муроме в курсантской роте.

Это хорошо. Осели наконец-то. Наконец-то будет порядок.

Курсантская рота — училище младших командиров. Трехэтажное здание бывшей школы. Большой вестибюль с кафельным полом холодит подошвы. Тускло торят лампочки на голых проводах. Двери вестибюля оформлены двумя красными фанерными щитами, на которых белой гуашью слева — текст присяги, справа — статьи военного трибунала за самовольную отлучку, неподчинение, дезертирство. Слева слова торжественные, возвышенные, справа — предупреждающие, угрожающие, уничтожающие.

В этих двух щитах — основа основ, альфа и омега армейского бытия и вся политграмота: «Священный долг» и «Высшая мера»…

К нам выходят офицеры. Они скептически оглядывают наш неровный строй, сидора за плечами, лапти, потом один из них отдает распоряжение старшине, и тот громогласно объявляет:

— Вольно! Солдаты! Вы прибыли в курсантскую пулеметную роту. Будете учиться на младших командиров. Обмундирование получите через пару дней. А пока — сдать сидора! Разойдись!

В наших рядах смятение. У большинства огромные мешки за спинами. За дорогу они почти не поубавились — за счет «приобретений» на базарах. Распихав свое богатство — бумагу, карандаши и последний сухарь — по карманам, бросаю пустой мешок в каптерке и возвращаюсь к своим. Вестибюль заполнен мечущимися парнями. Они развязывают свои мешки, что-то тащат оттуда, запихивают по карманам, некоторые сыплют сухари за пазухи, засовывают в штаны поллитровки с топленым салом.

Выкрики сливаются в общий шум, и строгая обстановка военной казармы становится похожей на базар.

Старшина что-то кричит в общем гаме, и между нами появляются фигуры в форме. Несколько сержантов пытаются навести порядок, устанавливают очередь в каптерку, толкают, орут, вырывают мешки у особо медлительных и бросают их и открытую дверцу каптерки. Действуют они слаженно и истово, но порядок не восстанавливается, шум не умолкает.

— А куда ж те сухари пойдут, — пробивается какой-то голубоглазый парень к старшине, ведь это наше добро, матка полгода копила, меня в армию собирала…

— Почему отбираете?

— Не имеете правов! Это наше!

— Молчать! — Старшина встает на табуретку. — Кто это сказал «наше»? Запомните — в армии нет слов «наше» или «ваше». Все общее. Вы продукты сдали, они будут взяты на учет и выданы вам же дополнительно к пайку. Ясно? А ты что, тетеря, — обращается он к голубоглазому, — на стрельбы с сидором пойдешь?

Парень мнется, молчит и виновато шмыгает в толпу. Крыть нечем, надо подчиняться. Тем более нам же будут потом выдавать продукты. Дополнительно к пайку.

Я даже испытываю какое-то удовлетворение. Все-таки кое-что входит в разумное русло. Появляется подобие порядка. Старшина и сержанты — в форме. Скоро и мы получим форму, и начнется нормальная армейская жизнь. Суровая, но справедливая. Анархии — конец. Последние люди сдают свои мешки с продуктами.

Притихшие и растерянные, кучками стоят на холодном кафеле вестибюля.

Нас снова строят, считают и разводят по казармам.

Вхожу в казарму и радуюсь снова. Большой пустой зал. Четыре ряда коек с синими суконными одеялами. Простыни заправлены по веревочке — одной линией. Пол подметен. Пирамида с винтовками, около нее курсант, часовой. Присяга в рамочке. Все строго и четко. Прощай, вагон с переплясами!

Сержант быстро ведет нас по рядам коек и показывает, где кто будет спать. Запоминаю свою койку — двадцать третья во втором ряду. С удовольствием поглаживаю одеяло. Это не грязные нары в вагоне, где нужно было с боем отстаивать место, а это место — мое по закону.

В столовую — становись!

Хорошая команда. Нас ведут вниз. Из кухни пахнет каким-то кислым варевом, и от нетерпения мы не стоим на месте, перебираем ногами. Курсантская рота — не распред! Здесь и харч должен быть другой.

— Заходи!

Заходим по десять человек с каждой стороны за длинные столы и стоим, ожидая команды.

— Садись!

Садимся.

— Встать!

Встаем.

— Кто там спит? Команду выполнять всем разом! Садись! Встать! Садись! Встать! Садись!

Затаили дыхание. Сидим. Кажется, на этот раз уже точно сидим. Какой-то курсант бросает на стол эмалированные миски.

Двадцать паек хлеба. Бачок с супом. Суп — капуста и картошка. Быстро съедаем, затем проглатываем по поварешке каши. И это все?

— Встать!

Как будто бы и не ели.

— Выходи!

Когда мы возвращаемся в казарму, то сталкиваемся с толпой старых курсантов, вернувшихся с учений. Нас встречают свистом, криками, насмешками. Назревает драка, но с появлением старшины шум стихает.

Вечером разносится слух, что в вестибюле будут выдаваться продукты из каптерки. Как будут выдавать, кому, каков порядок выдачи — никто не знает, но все спешим туда. Мне надеяться не на что, ведь я ничего не сдавал, но я бегу со всеми из любопытства. На лестнице нас обгоняет ватага старых курсантов, человек тридцать или сорок. Они-то чего спешат? Ведь им-то ничего не положено, на что они надеются?

Однако курсанты знают что-то свое и плотной стеной встают у дверей каптерки. Наши образовывают второй круг сзади, толкаются и переругиваются с курсантами.

— Очередь надо!

— Яка там очередь!

— А ты не лезь, гад, глаза выколю!

— Надо по списку выдавать, по списку, — беспокоится голубоглазый парень, а то беспорядок…

— А эти-то чего приперлись? Чай, они-то ничаво не получат. А ну давай отсюдова!

— Я тебе дам «отсюдова»! — вдруг набрасывается один из курсантов на голубоглазого. — Катись, вошь чесоточная! — И он с размаху бьет парня по щеке. Тот отшатывается в сторону, но другой курсант еще раз бьет его по голове.

— Наших бьют! — В темную однородную толпу курсантов врезываются цветные полушубки и серые ватники, и начинается потасовка.

Внезапно двери каптерки открываются, и на пороге появляется старшина с большим холщовым, из-под картошки, мешком в руках.

Драка моментально прекращается, и вся толпа уплотняется к центру. Старшина с минуту молчит, улыбаясь, а потом с помощью сержанта вдруг высоко поднимает мешок и опрокидывает его в толпу…

Общая свалка. Приглушенные крики. Топот. Красные, потные лица с вытаращенными глазами. Кто-то выдирается из общей

кучи, крепко прижимая к груди несколько сухарей. Кто-то внизу, под телами, задавленно хрипит. Мелькают кулаки, оборванный ремень, спины, животы, руки, ноги — все перемешалось в каком-то диком хаосе, а на возвышении стоят старшина и сержант и хохочут, забавляясь зрелищем.

Я и несколько других ребят стоим поодаль в столбняке, не отрывая глаз от происходящего.

Наконец то один, то другой курсант, с разорванными воротниками, красные, вылезают из кучи-малы и, придерживая набитые карманы, исчезают на лестнице. Куча распадается…

Нашим почти ничего не досталось, кроме синяков и кровоподтеков, и они со стонами и руганью расходятся по казармам.

Разыскав свою койку, я неожиданно нахожу ее занятой. Кто-то лежит на ней, укрывшись одеялом. Наверное, я ошибся — пересчитываю снова: двадцать первая, двадцать вторая, двадцать третья… Все правильно — моя.

На мой недоуменный вопрос — злобная ругань из-под одеяла. Зову старшину. Он идет со мной неохотно, а узнав в чем дело, вдруг обрушивается на меня:

— А ты что думал, — как у маменьки, — отдельная тахта? А ну, ложитесь вместе, вашу в душу… Отбой!

Мой сосед, длинный и жилистый парень из-под Харькова, глухо ругается и отодвигается к краю койки.

Лежим, укрывшись одним одеялом. При каждом моем движении он злобно поносит меня, толкается и стаскивает одеяло…

Кажется, начинается настоящая армейская жизнь.

Баня

Новые незнакомые люди окружают меня. Всех перемешали, перетасовали. Рядом со мной уже нет ни одного мантуровского парня, к которым я если не привык, то хоть как-то применился, притерпелся, знал, что от кого можно ждать.

Вокруг меня в основном украинцы из оккупированных областей и рязанские, горьковские парни. Все они враждуют друг с другом. Постоянно вспыхивают ссоры, драки, ругань, ежедневно происходят кражи, крупные и мелкие.

Утром нас еще раз подстригли под машинку, днем погоняли строевой, потом роту построили в вестибюле и устроили суд.

У одного парня пропали деньги — восемьсот рублей. Сержант устроил обыск и нашел деньги у Соловьева, невысокого худого паренька. Деньги вернули владельцу, а Соловьев стоит в центре, опустив светлую голову, и выслушивает проповедь офицера. Мы стоим вокруг, повзводно, образовав четырехугольник, и внимательно слушаем.

— Украл деньги, Соловьев? — спрашивает офицер.

— Украл.

— Ты что же, сволочь, — вор?

Соловьев молчит.

— А зачем украл?

Молчание.

Офицер думает. Говорит он тяжело, медленно подыскивает слова.

— Ты знаешь, что в армии воровать нельзя? Отвечай!

— Знаю.

— А зачем воруешь?

Молчание.

— В штрафную захотел?

Ответа нет. Соловьев стоит, опустив голову, и сдается мне (нет, не может быть!), что он улыбается уголками рта.

— Запомни, — голос офицера становится торжественным, — в армии воровать нельзя! Повтори!

— В армии воровать нельзя.

Пауза.

— Так будешь воровать?

— Нет! — Соловьев поднимает голову и уже открыто улыбается, глядя на офицера, и весело повторяет:

— Нет, не буду воровать! Потому в армии нельзя!

Офицер доволен.

— Становись в строй! Рота, — обращается он к нам, — сейчас

пойдете в баню. Сержанты, выводите людей!

В баню! Ура! Все мы грязные как черти, не мылись уже три недели…

— Выходи! Стройся! Смирно! Шагом марш!

Весело трогаемся с моста.

— Запевай!

Несколько шагов идем молча, и вдруг звонкий голос затягивает «Священную войну». Слов почти никто не знает, подпевают нестройно, невпопад, но запевала старается вовсю и поет за всех — весело и громко. Что-то знакомое в его голосе заставляет меня приглядеться к нему. Невысокий худой парень идет впереди и во все горло выпевает торжественные слова. Его поддерживают плохо. Он оборачивается, весело взмахивает рукой и кричит:

— А ну, подтягивай!

Соловьев! Не верю ни глазам, ни ушам. Это же Соловьев — ворюга, которого только что судили…

Кто-то больно наступает мне на пятки. Оборачиваюсь со злостью.

— Ногу возьми, гад! — рычит на меня мой сосед по койке и длинно ругается.

Да, я сбился с ноги, и теперь меня учат по-армейски: если впереди идущий сбивается с ноги, меняет ногу, то идущий сзади сознательно наступает сапогами на пятки. Неписаный закон. Чем больнее, тем лучше, — наука. Строгая, но справедливая.

— У, зараза! — бросаю я и меняю ногу.

В предбаннике хаос. На скамьях сразу возникает толкотня и драка. Шумно. Холодно. Сержанты подгоняют: скорей раздевайтесь, скорей!

— Куда вещи? — Оставить их здесь невозможно — все пропадет.

— Вещи в жарилку!

— А что такое жарилка?

— Вшей там твоих жарить будут! Быстрей!

Ничего не понимаю. Смотрю, что делают другие. Одни стоят у стенки, не раздеваясь, другие на скамьях раздеваются, связывают узлы из вещей и куда-то бегут голые. Хлопает дверь мыльной, оттуда вырываются клубы пара, и голые мокрые тела с гиканьем разбегаются по предбаннику. Крик. У кого-то пропал бумажник. Двое дерутся из-за какого-то ремня…

— А ты что стоишь? Команду «раздеваться» слышал? А ну, бегом!

Присаживаюсь на освободившийся угол скамьи и расстегиваю

пуговицы моего бушлата. Надо припрятать куда-то оставшиеся у меня вещи: ватные брюки, шерстяные носки… Куда же это все? Ну неужели здесь нет ни одного нормального человека, который хоть что-нибудь мне бы объяснил, помог словом, что ли?

Нормальный человек, как в сказке, появляется передо мной.

Это наш парикмахер, сержант средних лет, с усталым и добрым лицом.

— Слушайте, что вы не раздеваетесь? — спрашивает он меня.

Он назвал меня на «вы», интонации мягкие, он не лается как собака, и я хватаюсь за него, как утопающий за соломинку.

— Я ничего не понимаю. Куда вещи? Кто за них отвечает? Чем мыться? У меня нет мыла. Почему никто ничего не объясняет?..

Он мягко и с сожалением смотрит на меня.

— Вы впервые в армии, и это все, конечно, давит, я понимаю… Вещи отнесите в жарилку, вон туда, свяжите их узлом, чтобы ничего не отвязалось. Обувь внутрь. Объяснять вам ничего не будут вообще. Мыло раздают в мыльной, но вам, — он критически оглядывает меня, — вам может не достаться. Возьмите мое. — И он протягивает мне коричневый брусок.

— Спасибо большое… Хорошо, что вы хоть все объяснили…

Начинаю быстро раздеваться.

— А из жарилки вещи пропасть не могут?

Он усмехается:

— Всякое бывает…

Я останавливаюсь.

— А как же? Что же делать?

— Послушайте, — говорит он, наклоняясь ко мне, — у вас хороший бушлат. Из жарилки вы его не получите — факт. Если хотите, я вам его сохраню. Помоетесь, выйдете и получите свой бушлат. Все остальное — может быть, а бушлат наверняка!

— Конечно, берите. Спасибо… Вы меня так выручите…

Он сворачивает бушлат, а я, запихав лапти и все остальное в рубашку, сдаю узел в жарилку и бегу в мыльную.

Гул в облаках пара. Ничего не видно. Голые мокрые тела. Вонь. Гомон. Из одной шайки моются по трое. Пытаюсь пристроиться к одной компании, но на меня орут, и я отхожу, скользя по мокрому полу. Еще две моих попытки начать совместное мытье из общей шайки оканчиваются неудачей; меня отталкивают, облаивают, и я продолжаю ходить голый с куском мыла, зажатым в кулаке. В углу из шайки моются двое. Это роскошь. Подхожу и сую руки в воду. Меня пытаются оттолкнуть, но я вдруг, неожиданно для себя, взрываюсь бешеным матом, выхватываю шайку и бью ею одного из моющихся по голой груди.

Грязная вода выплескивается на меня, парень вопит и куда-то убегает, а я подскакиваю к другому и что-то ору ему, размахивая шайкой. Через минуту мы моемся вместе и даже трем друг другу спины.

Кажется, начинаю учиться жить.

Намыливаюсь. Напарник выливает на себя воду. Встаю в очередь за новой. Собственно говоря, это не очередь, а свалка. Каждый рвется с шайкой к крану, отталкивая других. Ну что же — с волками жить, по-волчьи выть… Кидаюсь в свалку скользких тел. Меня толкают, ругают, кто-то сзади бьет по спине, но все же я добываю полшайки теплой воды.

— Кончай мыться! Вылетай! Вещи выкидывают из жарилки!

Баня мгновенно пустеет.

Едва успеваю вылить на себя воду и выбегаю в предбанник.

Летят в общую кучу узлы из жарилки. Общая свалка. Все тянут что-то к себе, у кого-то развязались узлы, какой-то ботинок бросают со смехом через все помещение, многие, получив свое, лихорадочно одеваются.

— Выходи строиться! Быстрей!

Снова бросаюсь в бой. Где мое? На коленях раскидываю узлы. Кто-то голый наваливается сзади. Из-под рук что-то выхватывают. Крики. Ругань. Вот мое! Хватаю, выкарабкиваюсь, одеваюсь. Все цело. Ура!

— Выходи строиться!

Одетые выбегают во двор. Оттуда слышатся команды построения. Ищу глазами моего парикмахера. Что-то его не видно. Баня пустеет, вокруг меня остались единицы, остальные строятся на улице. Где же парикмахер? Я бегаю и спрашиваю оставшихся. Всем не до меня, отмахиваются.

— Быстрей, вашу в душу! — влетает сержант. — Кончай копаться! Выходи!

— А где парикмахер? — спрашиваю его.

— Какой парикмахер? Ты что, сдурел? Выходи!

— Наш парикмахер, который стриг нас… Он взял мой бушлат на сохранение!

Сержант стоит, выпучив глаза.

— Выходи, сказано! Ты что, не видишь — последний остался!

— Не пойду я на улицу без бушлата! — ору я и сажусь на скамью. — Где мой бушлат? Где парикмахер?

В предбаннике я и сержант. Вбегает офицер.

— Сержант, в чем дело? Почему задерживаете?

— Да вот бушлат пропал у этого недоноска!

— Какой бушлат? — строго спрашивает офицер. — Встать!

Я вскакиваю и объясняю, в чем дело.

— Сержант, беги в каптерку, возьми шинель б/у и выдай этому дураку. Бегом!

Мне приносят шинель, и я облачаюсь в нее. Ну и шинель! Рваная. На груди рыжее пятно. Крючков нет — застегнуть нельзя.

Неумело, кое-как запахиваюсь и выбегаю во двор.

— Становись! — командует сержант. — Из-за одного охломона на двадцать минут задержали роту! Шагом марш! Бегом марш!

Мы бежим по ночным улицам, и мостовая гулко отвечает нам. Куда бежим? Куда торопимся? Спрашивать нельзя. Не положено. Офицер наверстывает время, потерянное из-за меня, — охломона, недоноска, дурака…

Улицы кончаются. Пути. Шпалы. Гудок паровоза… Как? Опять? А как же курсантская рота? Синие одеяла?

Так и есть. Темнеет товарный эшелон.

— По вагонам!

Темнота.

Стук колес.

Зябко в «новой» шинели.

Пропавший штык

И надо ж такому случиться — пропал штык!

Еще вчера, когда я принимал дежурство по части и тщательно пересчитал все оружие, штыков было 120 — столько же, сколько винтовок в роте, а сегодня крайняя винтовка в пирамиде стоит укороченная — без штыка.

Куда он мог деться — ума не приложу!

Дежурство по части — хлопотное и ответственное дело. До сих пор дежурили по части только младшие командиры, и то, что мне, первому из солдат, поручили его, — большая честь.

Всю ночь я старался, как мог, — наряд на кухне работает, уборная вычищена, полы вымыты, выдраены, все в ажуре.

Все, кроме проклятого штыка. Исчез, и все!

Рыжий сержант — вопреки моему ожиданию — не стал орать, а нехорошо ухмыльнулся и бросил: «Роди, да найди! Найдешь — сдашь мне лично. Не найдешь — „губа“».

«Губа»! «Губа» мне не улыбается…

Мне не довелось, к счастью, бывать на «губе», но рассказывали о ней страшное.

Полковая гауптвахта («губа») помещалась на окраине Канаша в зарешеченных подвалах кирпичного здания.

Это была самая настоящая уголовная тюрьма, в камерах которой верховодили бандиты в военной форме, бесконтрольно заводившие там свои порядки. Так, новичок, попадавший на «губу» и впервые входивший в камеру, сразу оглушался воплями тридцати или сорока человек, находящихся на нарах и на полу. Его немедленно выводили в центр, окружали и по указаниям «короля» (в каждой камере был свой «король») «приводили к присяге».

«Присяга» заключалась в том, что новичка ставили на колени и заставляли повторять вслед за «королем» слова воинской присяги, переиначенной на уголовный лад. Смысл «присяги» состоял в том, что новичок обязывался воровать, а добычу отдавать братству воров, он присягал в верности этому братству, становился его членом и так далее…

С первых же слов «присяги» новичку начинали натирать стриженую голову металлической щеткой для чистки лошадей. Это испытание необходимо было выдержать до конца; тот, кто переставал произносить слова присяги или кричал от боли, становился конченым человеком. Его били всей камерой, издевались по-всякому, раздевали догола и натирали конской щеткой разные места тела…

Два раза в день часовые вносили в камеру хлеб и бачки с супом и выходили, закрыв за собой дверь. Еду распределял сам «король». Весь хлеб он забирал себе и раздавал своим дружкам. Гуща из супа разливалась в пять-шесть мисок и поедалась «аристократией», остальное — жижу от супа — разрешалось съесть остальным.

Насытившись, главари камеры начинали развлекаться: играть в карты на оставшийся хлеб или гонять новичков строевым шагом по камере, заставляя выполнять все воинские команды. Иногда кого-нибудь из молодых проигрывали в карты и принуждали идти на базар, и он, рискуя быть пойманным патрулем (за побег с гауптвахты грозил трибунал и штрафная рота), пускался на всяческие ухищрения, чтобы обмануть часовых, и если это удавалось, то всякими закоулками бежал на базар, прижимая к себе хлеб, и возвращался назад с водкой.

Часовых — таких же юнцов 1926 года рождения — обычно подкупали пайкой хлеба, и они, жадно запихивая на морозе серый мякиш в рот, закрывали глаза и на побеги на базар, и на крики избиваемых в камере. Хозяйничали в камере обычно сержанты и солдаты-сверхсрочники, прошедшие огонь и воду, сидевшие и на «гражданке», и в военных тюрьмах.

Казарма после «губы» представлялась родным домом.

Но куда же все-таки мог деваться штык? Украли его, что ли? Шутка сказать — найди! Что же делать?

Рассказал во взводе. Встретили по-разному. Жигалка обозвал растяпой, Кулик злобно обрадовался: «То ж, „губы“ понюхаешь теперь». Замм беспомощно и сочувственно развел руками.

— Послухай мэнэ, — обратился ко мне Юхимец, — ты за штык горюешь? Нэ горюй! Нэ знаешь, иде взяты його? От задача! На другому этажи був?

— Да.

— Пирамиду третьей роты бачив?

— Ну, бачыл.

— Так там же бильше ста штыкив стоить. Поняв?

— Так что же — пойти и украсть их штык?

— Дурэнь ты дурэнь, — ласково говорит Юхимец, — то ж не их штык ты возьмешь, а свий. Цей штык уже два месяца из роты в роту кочуеть. У кого-то давно штык пропал. Сдавать надо? Надо. На «губу» кто иты хочеть? Ночью пишлы, из другой роты сбондилы, утром сдалы — усэ в порядке! Другая рота хватилась — дэ штык? Пишлы, у третьей роты штык снялы — обратно полный учет. Зараз до тэбэ дило дошло. Тык невжели ты за всих отдуваться должен?

Бегу к рыжему сержанту уговорить его подождать до ночи. Он

сразу соглашается.

Ночью в одном белье прокрадываюсь на второй этаж. Тихо и полутемно в казарме. Около пирамиды с винтовками бродит часовой. Стою, притаясь, за выступом стены, жду, когда он отвернется или уйдет, но он топчется на месте, взяв винтовку под мышку, греет руки в рукавах. В коридоре дует из щелей, холодина.

Начинаю мерзнуть, но стою не шевелясь. Боюсь скрипнуть, произвести какой-нибудь звук. Проходят минуты, кажущиеся мне вечностью. Проходит полчаса, может быть, час.

Ничего не выйдет.

Надо уходить. Не умею я воровать, идиот такой! Жаров давно бы уже был со штыком, а я стою тут, мерзну, а завтра пойду на «губу».

Медленно выползаю из-за уступа стены, выхожу на лестничную площадку и оборачиваюсь в последний раз.

Темная фигура часового сидит, сгорбившись у пирамиды, спиной ко мне. Винтовка прислонена к плечу, и я вижу, как она мерно двигается туда-сюда, туда-сюда…

Спит. Или дремлет…

Ну — давай! Сейчас или никогда!

Быстро снимаю ботинки. Босиком вперед — два скачка до пирамиды. Спокойно, не звякни. Штык — вот он. Свернул. Два скачка назад. Каменные ступени обжигают холодом босые ступни. Лечу, не замечая этого. В одной руке — ботинки, другой прижимаю к животу драгоценный штык.

Рыжий сержант скалит зубы.

— Проявил, значит?

— Что проявил?

— Солдатскую смекалку, дура! А теперь — марш спать! Чтоб не видел тебя никто!

…Лезу на нары и втискиваюсь между Кузнецовым и Заммом. Замм что-то бормочет во сне. Кругом сопят, храпят на разные голоса. Как там тот часовой? Такой же бедолага, как и я…

Завтра ему идти воровать штык…

Хороший день

Мне здорово повезло.

Вчера Филиппов, распределяя посты, сказал: «Разумовский — на хлебозавод!»

Жаров прямо охнул: «Ну и везет же людям, то его на кухню назначат, зараз на хлебозавод…»

— Так шо его посылаты? — вступает Жигалка. — Вин же ничого нэ сумеет промыслить усэ равно!

— Да ну, не сумеет! Быть коло хлиба и не наистысь? То ж вэлыкым дурнем надо быть!

Я сам чувствую, что мне отчаянно повезло, но не совсем представляю, как я сумею реализовать свое везение, как «быть коло хлиба и наистысь при этом»? Ведь не станешь же хватать буханку и грызть ее…

Меня мучает это целый день, я думаю и передумываю варианты, как украсть хлеб, и, наконец, кляня свою беспомощность и неприспособленность, решаю обратиться за советом к Жарову.

Он не скрывает своего презрения.

— Как? От дурень! Так ты ж его в руках держать будэшь, так хиба ж ты нэ отломишь?

— Как же отломишь? — мучаюсь я. — Ведь заметно же, если отломишь.

— А ты нэ по многу, — поучает Жаров, — с одной буханки корочку, с другой, с третьей, вот хлеба и наешься, и мне за совет принесешь. И посылают же таких! — добавляет он со злостью.

Теперь я начинаю понимать. Воровать нужно умеючи, незаметно. Что ж, попробуем. Главное — не упустить возможности, наряд на хлебозавод такая редкость, такая удача, впервые за три месяца.

Ночью нас поднимают в четыре часа. Наряд выстраивается в темноте перед казармой. Тускло светит лампочка. Сильный мороз заставляет нас притопывать, хлопать рукавицами, следует команда: «Опустить уши!», и вот мы уже идем по ночному Канашу мимо высоких наборов, мимо спящих домов, пересекаем железнодорожную ветку, проходим мимо товарных вагонов в тупике и выходим в поле. Хлебозавод расположен далеко от города, и около часа мы шагаем по полю гуськом по еле заметной тропинке, следуя за сержантом, начальником караула.

Большой серый дощатый забор хлебозавода обит сверху колючей проволокой, у ворот охрана с винтовками, у проходной тоже.

Сержант предъявляет пропуск, и мы входим в ворота. Запах свежего хлеба и солода раздражает обоняние, все нюхают воздух, топают ногами и бодрятся. Настроение приподнятое, кто-то даже шутит, всем не терпится приступить к работе, скорее взять в руки теплые буханки, которые так великолепно пахнут.

Меня назначают на выгрузку хлеба. Вдвоем с незнакомым солдатом мы встаем около деревянного желоба, идущего из небольшого окошка наружной стены цеха, и ждем. К желобу подъезжают сани. Оттуда выскакивает солдат, расправляет большую тряпку в санях и кричит: «Сюда грузить будете!» Лошадка, небольшая, коричневая, мохнатая, вся в инее, поворачивает голову и жадно раздувает ноздри. Этот запах кого хочешь может свести с ума!

— Эй, не зевай! Хлеб принимай!

Бросаюсь к желобу.

Окошечко раскрылось, и оттуда очень быстро, одна за другой, падают буханки. Мы втроем бросаемся к ним, хватаем и бежим укладывать в сани. Буханки горячие и тяжелые, хлеб сырой и непрочный, рукавицы я сбросил и теперь каждым пальцем, всей ладонью ощущаю неровную поверхность буханки. Вот у этой корочка отпала — раз! — и она во рту!

Работа продолжается в быстром темпе. Мы уже грузим третьи сани. Сержант стоит рядом, считает буханки и покрикивает. Я уже приспособился собирать дань почти с каждой буханки. Рот набит корочками, я не успеваю их съедать и начинаю понемногу набивать карман шинели. То же самое делает мой напарник. Мы радуемся тому, что двор хлебозавода скудно освещен и что буханки сами рассыпаются в руках. Сержант, возможно, замечает наши уловки, но молчит пока. И на том спасибо!

Хлоп! Окошко закрывается. Выгрузка окончена. Сани отъезжают, а нас посылают пилить дрова. Жаль! Хорошая была работа! Мы нагрелись от нее, почти наелись, я с удовольствием поглаживаю карман, набитый теплыми корочками. Тепло от них проходит к ноге, и мне хорошо. Приятно и радостно.

Не спеша, мы начинаем пилить. Дров много, они никуда не убегут. Распилив два бревна, мы устраиваем перекур, рассаживаемся на бревнах и начинаем беседовать. Я чувствую необычайную симпатию к моему напарнику — рябому, низкорослому солдату, мы понимаем друг друга без слов. Он закуривает, а я сижу рядом и посасываю корочку. Сегодня хороший день!

— Кипяточку бы достать! — говорит он, бросая самокрутку.

— А что — сейчас достанем! — отвечаю я с готовностью. Я чувствую прилив сил и необыкновенной энергии. Все мне кажется

сейчас выполнимым, чувство гордости и уважения к себе переполняет меня. Как же! Ведь я не оказался «великим дурнем», а наоборот, я, оказывается очень ловок и хитер, карман у меня полон хлеба, я сыт, мне тепло — море мне по колено! Сейчас еще и кипяточку достану!

— Эй, тетя! — стучу я в окно цеха. — Нет ли у вас кипяточку?

Женщина в платке высовывается в форточку.

— А кружка есть?

— Нету. Нет кружки.

— Ну, ладно! Я тебе в миске дам, только миску-то отдай, слышишь?

— Отдам, спасибо!

Рука с эмалированной выщербленной миской просовывается в форточку. От миски валит пар. Я бережно принимаю миску в руки и почти обжигаюсь. Настоящий кипяток!

Мы сидим на бревнах и поочередно отхлебываем из зеленой миски горячую, пахнущую прелым воду и заедаем хлебом. Нам хорошо.

— Кончай пилить, выходи строиться!

Отдаю миску. Строимся и шагаем домой, в казарму.

После обеда меня отзывает дежурный по части.

— Пойдешь на хлебозавод. Дополучишь две буханки. И давай по-быстрому! Туда-сюда, чтобы за два часа был назад!

— Есть.

Снова утренний путь. Приятно пахнет дымком из труб. Миную железнодорожную ветку, и вот я уже бреду по снежному полю. Далеко на горизонте видны дома, серые, темные. Справа где-то начинается лес, передо мною вытоптанная в снегу тропка, ржавая солома редкими кустиками пробивается то там, то сям из снега, ветер покручивает вокруг нее снежок. Безлюдно. Только раз мне встречается женщина, закутанная в черный платок, да рыжая собака уступила дорогу, вынюхивая что-то в снегу.

Неплохой все-таки сегодня день. Во-первых, я сыт, во-вторых, я могу немного побыть сам с собой, состояние такое же редкое, как и сытость… Сколько мы еще будем здесь? Скоро ли на фронт? Я жду этого с нетерпением. На фронте хорошо кормят, хлеб там валяется просто под ногами — так говорят все мои украинцы…

На хлебозаводе я предъявляю бумажку, и мне вручают две огромные горячие буханки. Тесто настолько сырое, что я теряюсь — как их нести? На мою просьбу во что-нибудь завернуть их мне не отвечают, да и наивно думать, чтобы мне дали какую-нибудь газету. Газета — дефицит, она вся идет на самокрутки.

Ставлю буханку на буханку, беру их под мышку и иду. С первых же шагов буханки начинают прогибаться под моею рукой,

корка отслаивается от мякиша, и крошки драгоценного хлеба падают на снег. Осторожно перемещаю буханки вперед, на грудь, и несу их, как носят ребенка, — двумя руками. Идти так неудобно. Буханки оттягивают руки, но хоть не разваливаются. Ускоряю темп. Вот уже и поле, вот тропинка, а вот и моя старая знакомая — рыжая собака. Она сидит на снегу, смотрит на меня, ноздри ее двигаются, а из розового с черным ободом рта бежит слюна.

Я двигаюсь прямо на нее и кричу. Она уступает мне дорогу, а потом идет за мной на расстоянии нескольких шагов, жадно глотая крошки хлеба, падающие с моих рук.

Идти становится тяжелее. Ветер намел на тропинку сугробы, и ноги увязают в глубоком снегу. Буханки оттягивают вытянутые вперед руки, и я замечаю, как нижняя под тяжестью верхней заметно деформировалась — она раздалась вширь, боковая корка у нее отстала и грозит упасть. Руки у меня начинают замерзать, надо переменить положение, иначе я просто выроню хлеб в снег.

Опускаюсь на одно колено, кладу на него буханки. Корка отваливается и падает в снег. Я оглядываюсь на рыжую собаку и вижу, что она не одна, с ней еще две, они незаметно подошли сзади, когда все мое внимание было приковано к буханкам. Собаки останавливаются и смотрят на меня. Вдали, около начинающего синеть в наступающих сумерках леса, я замечаю две приближающиеся к нам точки… Еще не разглядев, угадываю — собаки!

Становится тревожно. Я вспоминаю рассказы о том, что здесь много одичавших собак. Канаш голодает, собак кормить нечем, они бегают поодиночке, иногда собираются стаями и промышляют чем попадется. Запах свежего хлеба привел их на мой след. Надо спешить! Сейчас они еще робеют, но если их соберется стая…

Подхватываю буханки, запихиваю упавшую корку в карман, быстро поднимаюсь с колен и иду скорым шагом. Мое внимание теперь раздваивается — я слежу за разваливающимися буханками и поминутно оглядываюсь на собак, которые следуют за мной, не отставая. Их уже пять. Впереди новая, крупная овчарка, она худа как скелет, уши прижаты, она первая хватает падающие крошки, глухо рыча на остальных. Вот она приближается ко мне, осмелев, и ее морда оказывается почти у моих ботинок. Резко оборачиваюсь и с криком бью ее ногой. Она успевает отскочить, я промахиваюсь и теряю равновесие.

Каким-то чудом успеваю выставить ногу и не упасть, но этот рывок стоит мне дорого. Буханки падают в снег, одна развалилась почти пополам, от другой отслоилась корка, мякиш рассыпался и

усеял снег серыми комочками.

Меня охватывает отчаяние. Хлеб, бесценный хлеб, который ждут к ужину голодные солдаты, хлеб, одна пайка которого стоит 25 рублей, гибнет у меня в руках! Я не смогу донести это месиво из корок и крошек… Как собрать, как спасти, когда руки начинают деревенеть от мороза, когда я один среди снежного поля, а сумерки сгущаются вокруг меня… Раз, два, три… шесть… восемь собак. Восемь собак! Они образовали около меня круг, сидят, смотрят и ждут. Кругом снег и пучки желтой соломы. Лихорадочно оглядываюсь — нет ли какой-нибудь палки или камня. Буханки, или, вернее, то, что от них осталось, лежат у моих ног. Я замахиваюсь и одновременно кричу что есть мочи. Собаки отскакивают немного и образовывают новый круг, чуть шире прежнего. Значит, еще боятся. До первых домов не так уж далеко, надо только дойти до них, там собаки не нападут, надо торопиться — быстро темнеет.

Решение приходит сразу. Снимаю пояс, сбрасываю шинель, стаскиваю гимнастерку и остаюсь в нижней рубахе. Мороз охватывает меня со всех сторон. Быстро завязываю рукава гимнастерки узлами и в образовавшийся мешок сгребаю хлеб, рассыпанные корки, остатки буханок вместе со снегом. Надеваю шинель, накидываю пояс, последнее движение — сгребаю рукавицей кучу крошек и вместе со снегом отправляю их и рот, потом закидываю мою торбу за плечо, еще раз кричу на собак и иду, вернее, бегу, к домам.

Собаки бросаются на место, где лежали буханки, грызут снег, пропитанный запахом хлеба, а затем опять трусят за мной.

Вот и дома. Проезжаем грузовик, едут чувашские сани.

Собаки отстают и теряются в синеве темного поля.

Я дохожу до наших бараков, вбегаю на кухню, бросаю гимнастерку с хлебом на стол и внезапно срываюсь — кричу с надрывом и слезами:

— Вот ваш хлеб! Можете меня на гауптвахту, в трибунал, расстрелять!.. Нет хлеба! Он развалился!..

Сажусь на скамейку и тупо смотрю, как развязывают мою гимнастерку, высыпают содержимое на стол, слышу, как ругается дежурный по кухне, вижу, как удивленно смотрят на меня солдаты.

— Марш в казарму! Два наряда вне очереди! — слышу я как-то смутно, повторяю приказание, забираю гимнастерку и бреду в казарму. Нервное напряжение разряжается странной усталостью, ноги у меня дрожат, руки тоже.

Я возвращаюсь в казарму в перерыв между занятиями.

— Ну как, поил хлиба? — спрашивает меня Жигалка.

Я не отвечаю. Сажусь на нары. Горьковец и Буйнов забирают у меня из рук гимнастерку, выворачивают ее и начинают выщипывать прилепившиеся крошки.

Вспоминаю, что в кармане шинели у меня лежит большая корка, — несколько рук тянутся к моей шинели. Мгновенный спор — корка исчезает в темных ртах. Перерыв закончен. Надеваю гимнастерку и сажусь слушать — изучать устройство затвора.

Гудят монотонные голоса, Глаза слипаются сами собой. Я клюю носом и проваливаюсь в сон. Меня толкают в бок. Уже совсем темно. В казарме загорается свет.

Ужин. Вечерняя поверка. Гимн. Отбой.

Ночью сильнейшие рези в желудке заставляют меня кричать от боли. Сползаю со своего места и часа два катаюсь от боли в углу нижних нар…

Хороший день закончен.

Расстрел дезертира

Огромное каре составляют все части, дислоцированные в Канаше. Здесь на большом плацу с деревянным помостом посредине стоят несколько полков. Около десяти тысяч человек собраны сюда для показательного зрелища.

Высоко на помосте стоит виновник сегодняшнего «торжества» — высокий человек в штатской одежде. Руки у него связаны за спиной, его караулят с винтовками четыре солдата, а внизу на грузовой машине, за столом с кумачовой скатертью восседает трибунал — несколько офицеров в одинаковых светло-серых шинелях и цигейковых шапках.

Секретарь суда, стоя, читает приговор. Площадь замерла.

Доносятся отдельные слова, гулкие на морозном воздухе.

…Местный житель… дважды совершал побег… укрывался в далеких деревнях… угнал лошадей… занимался бандитизмом… Именем… приговаривается… к высшей мере — расстрелу.

— Приговор привести в исполнение!

Звучит дробь барабанов. Шестеро ефрейторов в новеньких голубовато-серых шинелях появляются откуда-то сбоку и четко, как на параде, отбивают шаг к помосту.

Машина с трибуналом отъезжает в сторону. Часовые покидают свои места около дезертира, и он остается один на помосте — высокий, худой, без шапки.

Звучит команда. Ефрейторы разом вскидывают винтовки.

Что-то крикнул стоящий на помосте. Залп.

Человек падает.

Портреты

Вспоминая своих товарищей по взводу, людей, с которыми я провел бок о бок шесть долгих месяцев, отмечу сначала поразившее меня, а потом ставшее привычной нормой общее положение: если в меняющемся составе взвода преобладали украинцы, они подавляли русское меньшинство, если большинство становилось русским, то украинцам становилось туго, чувашей и мордвинов в обоих вариантах всячески дискриминировали, а ко мне всегда было особое отношение.

— Что хохлы, что кацапы — все в армии, — говорит Жаров во время перекура, — а вот еврея в армии не найдешь…

— Это точно, — поддерживают его сразу несколько голосов, — евреи все по тылам… В магазинах торгуют.

— Слушай, Жаров! — стараюсь быть спокойным. — Ну что ты порешь? А я где? В магазине? Или рядом с тобой винтовку таскаю?

— Ты? — как бы удивляется Жаров. — Так ты дурак. Поэтому и здесь. — И, как бы извиняя меня, добавляет: — У каждой нации есть дураки!

Жаров был трусом, избегал драк, подхалимничал перед сильными и в то же время обладал необъяснимым для меня авторитетом, какой-то тайной силой, заставлявшей многих искать его расположения и считаться с его мнением. Впоследствии тайна жаровского авторитета была мною разгадана: он был удачливым профессиональным вором и за полгода ни разу не попался — это нельзя было не уважать.

Однажды, когда наш взвод дежурил по ночному Канашу, Жаров и Пелепец патрулировали на вокзале. Не помню, почему и при каких обстоятельствах они показали мне два украденных чемодана, которые были набиты цветными мотками шерсти, пачками табака и мужскими рубашками. Я спросил у Жарова, что он собирается со всем этим добром делать. Жаров вздохнул выразительно и покрутил пальцем около лба, дав понять, что такому идиоту, как я, не стоило и показывать, захлопнул чемодан и приказал Пелепцу унести его, что тот немедленно и выполнил.

Был он среднего роста, худощав и сутул. Маленькие, близко посаженные бегающие глазки на угреватом нечистом лице довершали его портрет.

Была у нас во взводе одна неразлучная пара: Лебедев и Кузнецов. Оба были ярославские, из одной деревни. Лебедев, большой, грузный, неуклюжий и незлой парень, всегда защищал и опекал болезненного и вялого Кузнецова, который сам постоять

за себя не умел. Однажды кто-то из харьковских ударил Кузнецова, и тот заныл, запричитал своим тонким высоким голосом, закрыв лицо руками. Со своего места на нарах соскочил Лебедев и врезал по морде обидчику, обозвав «хохлом поганым».

С разных сторон полетело:

— У, кацапская морда!

— Расейская сволочь!

— Шо буркалы выпучив, кацап?

Лебедой стоял весь красный, взъерошенный, сжав кулаки, готовый драться хоть со всеми.

— А вы, — задыхаясь, вдруг выкрикнул он, — вы все — изменщики Родины!..

Сказано это было с таким бешенством, с таким напором, что, хоть и закружилось вокруг него растревоженное кольцо харьковских, никто его не тронул.

Впереди меня в строю стоял Шагалов, парень из Горьковской области, рослый, по-своему красивый, в начале службы веселый разбитной плясун и частушечник, по облику своему напоминавший мне моих мантуровских. Если его задевали, он лихо бросался в драки, был активен, груб и напорист. Однако со временем он притих, затосковал и примолк. Стал быстро худеть, начал кашлять, жаловался на боли в боку. Плясать перестал, в драки не лез, а предпочитал тихо сидеть в углу, прижавшись к теплой трубе. Потом на щеках появились лихорадочные пятна.

Наконец, когда однажды на занятиях винтовка выпала у нею из рук, а сам он упал за ней на снег, сильно закашлялся и заплакал, его направили в санбат. Из санбата же списали по чистой — с открытой формой туберкулеза.

За ним приехал отец — высокий прямой старик, и мы последний раз видели Шагалова рядом с ним. От прежнего веселого парня осталась одна тень. Сам он был худ как скелет, глаза ввалились. Он шел с трудом, держась за руку отца.

Вообще, к весне дошли все, не только Шагалов.

Я помню, как в начале службы, в декабре, мы занимались на турнике. Больше всех тогда подтянулся Борька Юхимец — двенадцать раз. Весной же, когда нас снова вывели на турник, он, единственный из взвода, подтянулся два раза — все же остальные повисли на перекладине, как сопли.

С нами во взводе служили несколько чувашей. Это были темные, полуграмотные ребята из окрестных сел, плохо говорившие по-русски. Их постоянно притесняли, а они все терпели, растерявшись в общей бойкой и настырной среде. Преимуществом их было то, что села находились рядом, и родные часто подкидывали им продукты, поэтому они чувствовали себя

лучше остальных.

Среди чувашей мне особенно запомнился Парамонов. Этот высокий белобрысый парень заметно выделялся своей грамотностью, уверенностью в себе и мужицкой хитростью.

Сначала Парамонов был неприметен во взводе, но скоро ему из родною села стали подкидывать продукты в больших количествах, и Парамонов сразу стал фигурой.

Огромные мешки сухарей, вяленое мясо, поллитровки с топленым маслом, исчезавшие в бездонной каптерке старшины Ткаченко, делали свое дело, и Парамонов скоро стал числиться в «лучших бойцах», получал увольнительные, посылался в наряд на кухню и никогда не мыл пол в казарме. Мы все должны были равняться по «лучшему бойцу», а вскоре и ефрейтору, Парамонову.

А ефрейтор Парамонов в это время обдумывал свое. Однажды, когда мы оказались с ним наедине и зашел разговор о нашей скорой отправке на фронт, Парамонов вдруг приник к моему уху и быстро, страстно зашептал:

— Эх, заболеть бы! Понимаешь — заболеть по-настоящему! Чтоб кишки выворотило, чтоб глаза на лоб, заболеть надолго, чтоб по чистой… — и вдруг замолчал, резко от меня отодвинулся, видимо испугавшись того, что выдал тайные свои мысли.

Занятый своими заботами, я не придал тогда значения сказанному, но спустя месяц ночью нас разбудили дикие вопли. Вопил и катался на нарах Парамонов, держась обеими руками за живот. Весь он был мокрый и красный, на губах пена, глаза вылезли из орбит.

Его сволокли с нар и отправили в санбат. Больше мы его не видели — «лучший боец» ефрейтор Парамонов осуществил свой план.

Из всех, кто окружал меня в Канаше, пожалуй, только два человека оставили о себе теплые воспоминания.

Один из них, Борька Юхимец, был родом из Ростова. Простой, добродушный, он обладал врожденным чувством справедливости, я не помню случая, чтобы он кого-нибудь обидел или притеснил, хотя дрался он часто. Ко мне относился по-товарищески, я платил ему тем же.

Вторым, с кем у меня навязались дружеские отношения, был Колька Зубенко из третьего взвода — самый маленький парнишка во всей роте. За малый рост, полудетское лицо и звонкий голосок его не обижали и даже относились, как к ребенку среди взрослых, между тем он был неглуп и развит больше многих великорослых.

Помню, на одном из совместных дежурств он вынул из

кармана узелок с сахарным песком и насыпал мне полную ложку на хлеб. Это был богатый подарок, помню его по сей день.

Самой яркой фигурой в роте был Паршенков, человек-легенда, которого знала вся рота.

Мощный, черный, широкоплечий, с короткой толстой шеей и волосатыми руками, он был страшно силен и злобен. Густые черные брови, сросшиеся на переносице, и ярко горящие разбойничьи глаза придавали лицу устрашающее выражение. Его железных кулаков и хриплого сильного голоса боялись все, не исключая командиров, которые сквозь пальцы смотрели на его выходки и дерзкое воровство, опасаясь с ним связываться.

Однажды его вызвал к себе командир роты Борисов и по обыкновению стал орать, набычившись и покраснев. Паршенков молча схватил со стола мраморное пресс-папье и замахнулся. Сдрейфивший Борисов отшатнулся сначала, а потом, когда услужливые сержанты скрутили Паршенкову руки за спиной, выдохнул:

— На «губу»! Десять суток строгого!

Паршенкова увели на «губу», где он в первый же день в жестокой драке завоевал право быть «королем» камеры, и вернулся в казарму отдохнувшим и веселым.

Подвиги Паршенкова передавались от одного к другому, как устные легенды. В распреде он избил сержанта, сделавшего ему замечание. Там же взрезал бритвой мешок и вытащил содержимое у старика чуваша, прибывшего на побывку к сыну. Утащив шинель своего помкомвзвода, он, с сержантскими погонами на плечах, спокойно вышел из казармы мимо часового и на базаре ограбил женщину, пригрозив ей ножом.

Свой взвод он держал в постоянном страхе, окружив себя группой подхалимствующих подонков, которые грелись и кормились вокруг него. Начальство скоро заметило его авторитет в роте и стало назначать дежурным по части или начальником караула. Помню, как меня это поразило — уголовника назначают начальником караула! Но жизнь показала: когда он дежурил по части, все работы производились быстро и четко. Дневальные бегали на полусогнутых. Каждый знал: если подвести Паршенкова, расправа наступит немедленно и будет жестокой. Жаловаться было некому. Искать правды бесполезно. И опасно. Один чуваш пожаловался как-то, что Паршенков и компания отняли у него хлеб. На другой день его увезли в санбат после «темной», устроенной ему взводом. Говорили, что сам Паршенков не бил, а просто первый накинул на парня шинель. Поскольку чуваша доставили в санбат без сознания, из штаба полка приезжала комиссия. Пытались найти виноватого. Свидетелей не

нашлось. Дело замяли. Через месяц чуваш вернулся в строй.

Несколько слов о командирах, которые придавали нашей жизни в Канаше особый колорит.

Командира роты старшего лейтенанта Борисова я не помню трезвым. Не помню его улыбающимся, не слышал ни одного разговора с солдатами и сержантами без мата, истошного крика и топанья ногами. Ротой командовал практически старшина Ткаченко, хитрый и умный мужик, который постоянно спаивал Борисова. Про него говорили: не старшина — зверь! Это было действительно так. Он все помнил и не прощал ничего. Он досконально знал все хозяйство роты и пользовался этим, как всесильный деспот. Иногда он привязывался к какому-нибудь солдату и тиранил его подолгу, донимая и сживая со света мелкими придирками и крупными наказаниями. Он как полновластный хозяин роты кормил и одевал ее по своему усмотрению. Видимо, поэтому нам доставалось обмундирование, которое уже нельзя было ни продать, ни пропить, а в котел попадало ровно столько, чтобы мы не подохли от голода и таскали винтовки.

Удивительным показалось нам появление в рядах командиров сержанта Матюшина, человека лет сорока, которого мы с первых же дней назвали «отцом солдатам». Искренне жалея нас, семнадцатилетних мальчишек, этот простой ярославский мужик сам ходил выпрашивать у старшины для нас лучшее обмундирование, не гонял нас, как другие, в сильный мороз, а, уйдя от казармы подальше, заводил взвод в дома и там давал возможность погреться и отдохнуть, рискуя получить взыскание от начальства.

Таким же человечным и даже вежливым оказался сержант Назаров, москвич, образованный (у него была законченная десятилетка) и честный парень, про которого Жаров сразу сказал: «Этот ненадолго, пошлют на фронт». Он оказался прав. Назаров побыл у нас месяц и был отправлен с маршевой ротой на фронт. Матюшин проработал с нами и того меньше.

Рота держалась на Филипповых, Борисовых и Ткаченках. Эти засели в Канаше прочно и, я думаю, усидели там до конца войны.

Будни

Я не сгущаю красок. Их не было. Кроме одной — серой.

Серые шинели, серые гимнастерки, серые дощатые бараки, серые глухие заборы у домов, серо-зеленые стены в казарме, темно-серый лес за снежными полями, свинцовое тусклое небо над Чувашией…

Одним серым движущимся пятном казался и наш взвод среди снега во время ежедневных многочасовых занятий по строевой подготовке, и единственными цветными, и даже живописными, пятнами в этой серой массе казались наши лица: желтые или бледно-синюшные с темно-фиолетовыми тенями под глубоко запавшими глазами, с красно-синими носами и рубиновыми ушами…

Был голод и холод, давящее ощущение одиночества и постоянное чувство растоптанного человеческого достоинства.

День начинался как обычно.

После лихорадочного одевания (солдат должен быть готов за три минуты) мы выбегаем в гимнастерках и шапках на улицу.

Ух и холодище! Неужели будем делать зарядку?

Но Филиппов непреклонен. Быстро построив взвод, он командует «Бегом марш!», и мы сразу трогаемся с места бодрой рысью, так как стоять невозможно. Добегаем до красных домов, переходим на шаг. Снова команда «Бегом!», и снова стучат рваные ботинки по утоптанному снегу, да валит пар из сорока ртов.

— В казарму шагом марш!

Холодные грязные стены казармы кажутся нам раем, теплым и родным.

Нары уже заправлены дневальными, темно-синие одеяла, одно на двоих, покрывают сшитые простыни, пол подметен. Можно сесть на приступе нар, положив шапку в ногах одеял (одеяла эти кишели блохами, крупнее которых я не видел ни до ни после), и минут за двадцать до завтрака заняться своими делами, написать письма, перемотать портянки.

С портянками была у нас сущая беда. За день портянки намокали, и их полагалось сушить в специальной сушилке — вешать на ночь поперек груб парового отопления, а утром забирать сухими. Это была теория. На практике же портянки пропадали — их крали. Особенно теплые. Тогда стали сушить их под собой — неприятно, но надежно.

Однажды ночью старшина Ткаченко засек это дело, одел взвод, выгнал на улицу и лично гонял строевой часа два. После того как мы, все мокрые от снега, вернулись в казарму, он

объявил, что если еще раз у кого-нибудь найдет под собой портянки, то повторит ночные занятия. С Ткаченко шутки были плохи. В результате волей-неволей понесли портянки снова в сушилку, и те, у кого портянок на другой день не оказалось, на следующую ночь вынуждены были идти воровать их из той же сушилки.

Расползаются солдаты по разным углам, ходят, как старички, сгорбившись, понурив бледные лица и красные носы. Около теплой трубы парового отопления обычная толкотня и ссоры, каждому хочется прилепиться к ней и немного погреться.

В дверях появляется Филиппов.

— Встать! Проверка на форму двадцать!

Мы снимаем гимнастерки, выворачиваем рубахи и стоим полуголые.

— Османкин! Опять вши, сволочь!

— Так чем же я виноват? Такую рубаху дали…

— Поговори еще! Рубаха виновата! Просто сам такой вшивый! Вечером полы будешь мыть! Повтори!

— Есть полы мыть, потому что вшивый…

«Вшивого» долго ругали и стыдили. В редких случаях посылали к старшине менять белье, но обычно тот с руганью отправлял обратно: «Ничего! До бани не сдохнешь!»

После завтрака начинались занятия, изредка в казарме, как правило, на улице: строевые, огневые, штыковой бой. Первые мы любили, а вторые ненавидели, так как страдали от холода не меньше, чем от голода. Холод мучил нас постоянно, с подъема до отбоя, и только ночью, под одеялами, мы немного согревались и отходили, чтобы с шести утра начать снова мерзнуть.

Почти все время уличных занятий уходило у нас на откровенную муштру. В этом плане Филиппов был неподражаем. Утром нас с винтовками выводили перед казармой на снег, и начиналось:

— Становись!

Мы быстро выполняли эту команду, так как только в строю можно было опустить уши шапок, а мороз был лютый. Что-то не нравилось Филиппову в нашем построении, и отдавалась команда:

— Разойдись!

Мы разбегаемся и ждем.

— Становись!

Стоим в строю.

— Отставить!

Разбегаемся. Трем уши.

— Становись! Равняйсь!

Основная стойка — голова повернута направо, подбородок задран, левое ухо выше правого — вроде все как надо…

— Отставить! Поленец! Чего спишь? Равняйсь!

Стоим. Затаили дыхание. Впереди меня ряд рубиновых ушей.

— Отставить! Жигалка! Как стоишь? Левое ухо где? Равняйсь!

Стоим. Вытянули шеи. Не дышим. Ждем.

— Смирно!

Филиппов, не торопясь, обходит строй. Проверяет — на одной ли линии носки, вместе ли пятки, на каком уровне уши.

— Вольно! Опустить уши!

Наконец-то! Закоченевшими пальцами развязываем тесемки ушанок, растираем уши, надеваем шапки.

— Смирно! Шагом… — Томительная пауза… — Марш!

Начинаются занятия по штыковому бою. Два часа мы отрабатываем приемы: «Прикладом бей! Штыком коли!». С ходу втыкаем штык в чучело, бьем его прикладом, а потом, отскакивая, отбиваем ложем винтовки удар длинным шестом с тряпочным шаром на конце, которым орудует проводящий занятия сержант.

— Разойдись!

Мы разбегаемся и потом сходимся в отдельные кучки. Винтовки ставим в пирамиды, можно немного отдохнуть.

Дымят самокрутки, лица солдат сосредоточенны и хмуры, мы давно разучились улыбаться, движения у всех медленные, сонные.

Сержанты собираются втроем и что-то обсуждают.

— Эй! Идите сюда! — кричит Филиппов. Это не команда, что-то в его тоне удивляет нас своей игривостью. Он улыбается. В руках у него кусок хлеба.

Мы медленно стягиваемся. Хлеб в руках сержанта магнетизирует нас.

— Вот. Смирнов говорит, что пайку хлеба не съесть за сто шагов!

— Ни за что не съесть! — подтверждает ротный писарь сержант Смирнов.

Мы теснимся и наперебой предлагаем себя для испытания.

— Разойдись, чего претесь! — сердится Филиппов. — Кто хочет попробовать?

— Я! Я! Я! Дайте мне!

— Я за пятьдесят шагов зъим! — неожиданно заявляет Жижири. — Я вже пробовал тыи штуки…

Сержант высоко держит пайку. Мы окружаем его плотным кольцом и смотрим наверх. Проходит томительная минута. Сержанты смеются и подталкивают друг друга.

— Дай Жижири, — говорит Смирнов, — уж больно брешет

здорово — за пятьдесят шагов! Пусть докажет!

Филиппов еще раз оглядывает нас. Его разбирает смех. На наших лицах напряженное внимание и сосредоточенность.

— Жижири, получай! — Рука опускается, и хлеб переходит к Жижири. Он крепко стискивает его и победно оглядывается.

Напряжение разрядилось. Кто-то отсчитывает двадцать пять шагов и встает на черте. Туда для контроля отправляется Канищев, мы толпой стоим на черте старта. Жижири предстоит пройти двадцать пять шагов туда и вернуться обратно. За этот отрезок пути хлеб должен быть съеден.

Подается команда: «На старт! Пошел!»

С первым же шагом Жижири подносит хлеб ко рту и делает первый укус. Мы следим за ним внимательно и настороженно. Возникает спортивный интерес: съест или не съест?

Сержанты улюлюкают, смеются, Филиппов приплясывает от восторга.

— А ведь съест он, товарищ сержант! — говорит Жаров.

— Ни за что не съест! — уверяет Смирнов.

— Съест! Жижири съест!

— Я бы сейчас полбуханки съел!

Жижири меж тем подходит к черте и поворачивает назад. Челюсти его беспрерывно двигаются, он уже съел половину куска. Идет он неторопко и заметно замедляет шаги.

— Быстрей! — кричит Филиппов. — Шире шаг! Будешь жилить — отнимем!

Жижири немного прибавляет ходу. Мы впиваемся в него глазами. Осталось двадцать шагов… Пятнадцать… Кусок уже совсем маленький… пять шагов… три… Жижири запихивает в рот последний кусок и, почти не жуя, судорожно глотает.

— Брехун! И здесь сжилил — шаги замедлил! — набрасывается на него Филиппов.

Сержанты разочарованы, проблема осталась неразрешенной, и вообще им надоело.

Я смотрю на Жижири и говорю:

— А все-таки ты не съел за пятьдесят шагов, а хвастал!

— Дурак ты дурак! — на этот раз почти добродушно парирует он. — Им игра, а я хлиба поил!

— Становись! Смирно! Шагом марш! Запевай!

Пение в походном строю было обязательным.

Чаще других мы пели старинную народную украинскую песню со странным текстом и необычной красивой мелодией:

Ой, да вспомним, братцы
мы кубанцы,

Двадцать перва сентября,
Как дралися мы с поляком
От рассвета допоздна…

Украинцы вообще очень любили петь и пели красиво, на два голоса с подголоском. Особенно выделялся своим чистым голосом и музыкальностью харьковчанин Гоцкало — ротный соловей. В строю он пел редко, но на отдыхе, в вагонах или где-нибудь в пути он всегда запевал народные протяжные мелодичные песни, и вокруг него сразу же стихийно возникал хор, которым он умело и полновластно руководил. В этом хоре ему подчинялся даже Паршенков, который сам любил петь и часто в строю запевал своим могучим басом: «Врагу не сдается наш гордый „Варяг“…»

Пели также озорную казацкую:

Запевала:

На базар ходила.
Горшик я купила.

Хор:

Горшик я, горшик я,
Горшик я, купила я…

В этой песне только первый куплет был цензурным, слова в остальных были так ловко подобраны, что каждый припев, исполняемый хором, становился сплошным матом:

Кашу наварила,
Сваху я накормила…

(Года через три я обнаружил этот текст у Шолохова в «Тихом Доне».)

«Горшик» петь запрещалось. Взамен рекомендовали (в приказном порядке) другую песню — «уставную строевую»:

Если есть запас патронов —
Их товарищу отдай!
А винтовку-трехлинейку
Никому не отдавай!

Эй вы, поля зеленые поля!
Лихие автоматчики, на линию огня!

Кроме этой поучительной песни, нас обязали разучить «Священную войну» и Гимн Советского Союза, который тогда только появился.

«Священную войну» мы сразу полюбили, что же касается гимна, то начальство сделало все, чтобы мы его возненавидели. Во-первых, его вдалбливали в нас вечерами в обязательном порядке. Во-вторых, когда гимн был уже выучен, им заканчивалась каждая вечерняя поверка. В одиннадцать часов, когда рота выстраивалась в коридоре и в ответ на выкрики фамилий сто двадцать раз звучало однообразное «я!», начинался гимн. Усталые, голодные, иззябшие, мечтающие добраться до нар, мы пели его весь, от начала до конца, со всеми припевами, стоя по стойке «смирно». После гимна обычно следовали долгожданные команды «По казармам!» и «Отбой!». Однако, если Филиппов был не в духе, он и из отбоя устраивал нам «воспитминутку», которая иногда затягивалась на полчаса, а то и больше. Подав команду «Отбой!», он с часами в руках следил, чтобы мы, полностью раздетые, лежали под одеялами за три минуты. Если кто-то один запаздывал хоть на секунду, следовало неотвратимое «Отставить!», и мы снова лихорадочно одевались, шнуруя ботинки, застегивая гимнастерки, ремни и вставая в строй между нарами. «Отбой!» — «Отставить!» — «Отбой!» — «Отставить!» И так пять-шесть раз.

Это называлось «погонять перед сном». Кроме этих упражнений, он почти ежедневно проводил с нами перед отбоем «политбеседу» на тему дня.

Во время очередной политбеседы, произнесенной им с верхних нар, густо пересыпанной матом и собственным творчеством типа: «Вот вы — хохлы проклятые! Жаль, нет здесь московских ребят, научили бы они вас жить, сволочей, мать вашу, перемать!» — Молодчий, который мрачно молчал в своем углу, вдруг неожиданно для всех поднял голову и заявил:

— А что это вы так много материтесь, товарищ сержант? Ведь это нехорошо: мать да мать… — И в наступившей тишине добавил что-то совсем уже несусветное: — Ведь вы же командир Красной Армии…

У Филиппова от неожиданности открылся рот, а потом он разразился таким семиэтажным, какого я еще не слышал. Закончил он свой монолог тем, что влепил Молодчему наряд вне очереди, и тот после отбоя отправился на улицу чистить гальюн.

Так проходили будни. Что касается праздников, то их просто не было. Даже 23 февраля — День Красной Армии, который мы очень ждали, втайне надеясь на лучший, чем обычно, обед, прошел, как всегда. Вместо обеда нас угостили политбеседой об истории Красной Армии и занудными наставлениями об укреплении воинской дисциплины.

При попытке к бегству…

Маленький, плюгавый, с сержантскими лычками на погонах и отвислым задом грязных штанов, он стоял в центре тесного круга молодых солдат и, странно разводя руками, что-то быстро говорил, шлепая большим губастым ртом.

— У меня дерьма этого — часов — до хрена было, до этой матери… Полные карманы. Раз поймали мы фрицев под Орлом. Их тогда пачками брали, техники валялось этой до хрена… Лейтенант приказывает: «Отвести в штаб полка». Я говорю: «Я поведу».

Пошли мы с другом. Друг у меня был не локша. Дали нам пятнадцать фрицев. Повели. Километров пять оттопали, завели в лесок. Я говорю: «А ну, мать… Становись! Равняйсь! Смирно! Часы снять, клади на пенек!»

Они сняли, положили. Я командую: «Становись!»

Встали они, подравнялись, а мы с другом полные рожки в них — как дали, мать-перемать! Они все друг на друга! Мы часики, колечки собрали…

Пришли назад. Я доложил: «При попытке к бегству…»

Затаив дыхание, дыша в затылок друг другу, стоят слушатели. Рты полуоткрыты, глаза неотрывно следят за рассказчиком.

Он замолчал, сплюнул на пол и растер ботинком.

Я стою, подавленный, и жду какой-нибудь реакции.

И реакция наступает.

— А золотые были? — спрашивает маленький парнишка с розовыми ушами.

— Рыжие? Была пара, — охотно поясняет сержант. — У меня ее потом, суки, в госпитале сбондили…

Кухня

Дежурство по кухне считалось самым желанным из нарядов. Оно являлось наградой, поощрением. Вечно голодные, мы втайне мечтали о нем и с замиранием сердца слушали распределение нарядов.

То ли Филиппов неплохо относился ко мне, то ли он считал, что со мной не будет хлопот, так как я не ворую, но меня назначали часто.

Кухня и столовая помещались в длинном сером бараке, по окна заваленном снежными сугробами. От дверей — протоптанные широкие тропы, по ним роты подходили питаться и уходили потом с обязательным пением песен. (Однажды я услышал, как после очередного обеда из мутной водицы с листьями капусты уходящий взвод затянул: «Кони сытые бьют копытами, встретим мы по-сталински врага…»)

В четыре часа утра мы приступали к дежурству. В темной холодной комнате, освещенной бегающими отблесками огня из только что затопленной огромной печи, копошились какие-то фигуры. Дежурные из другого взвода приходили раньше нас и, сгрудившись у печки, толкали туда на щепках мороженые картофелины, пекли их и жадно ели полусырыми, пачкая лица сажей. Печь картошку было запрещено, но через три месяца службы уже не было ни одного солдата, который бы твердо не усвоил правила: «Делай, пока тебе не запретили…»

Мы начинали немедленно рыскать по углам и, наткнувшись на бочку с мороженой капустой, жевали холодные, мокрые, прозрачно-желтоватые листья. Печь картошку мы уже не успевали: появлялся старший по наряду сержант и разгонял всех на работу. Работы было много: пилка и колка дров, традиционное мытье полов на кухне (два ведра холодной воды опрокидывали на пол, потом сгребали жидкую грязь в ведра и выносили в вонючий нужник рядом с кухней), скребка ножами темных липких столов, переноска из склада мешков с картошкой и многое другое. Примерно через час появлялась повариха, отпирала кладовку с хлебом и выдавала старшему по наряду нужное количество буханок и сахарный песок в жестяных мисках. Хлеб и сахар взвешивался внутри кладовки поварихой и сержантом, солдаты никогда при взвешивании не присутствовали. Дежурные забирали хлеб и сахар из рук сержанта и уносили в раздаточную, откуда уже из маленького окошечка выдавали на столы.

В этом самом окошечке с украденной миской сахарного песка застрял во время одного из дежурств парень из нашего взвода —

Барткус. Там его и захватили на месте преступления, вытащили с трудом и отправили на «губу». (Барткус вообще был странным, нервным и истеричным парнем, во взводе его считали дурачком, дразнили и задирали, а он был бедолагой и часто сам себе портил жизнь.) С «губы» он вернулся совсем больным, издерганным, с трясущимися руками и был отправлен в санбат.

Вся работа на кухне проходила под одним общим девизом: «Как бы чего-нибудь утянуть». Тянули все — от поварихи до дежурного солдата, который, выдавая буханки, умудрялся отщипывать корочки; другие по пути от раздачи до столов ухитрялись залезть пригоршней в миску с песком и набить им рот.

Особо привлекательным местом считалась судомойка — маленькая квадратная комната с длинной, от стенки до стенки, лоханью из оцинкованного железа. В комнатке с двух противоположных сторон были прорублены два окошка: в одно подавались жестяные миски из солдатской столовой, в другое фарфоровые тарелки из офицерской. Для дежурных по мойке миски не представляли никакого интереса; они были всегда пусты и бросались в теплую грязноватую воду стопками. Зато фарфоровые тарелки требовали особого внимания и индивидуального подхода. Часто на них оставались непростительно богатые объедки жаренного на сале картофеля, который дежурные мокрыми ладонями сгребали с тарелок и отправляли в рот. Иногда на тарелках лежали недоеденные куски хлеба, иногда в мойку попадали чуть начатые стаканы со сладким чаем. Все это моментально уничтожалось, а иногда, при особенной удаче, и уносилось с собой. Так, однажды, я вынес в кармане целые три пайки хлеба, снятые с офицерских тарелок, и на другой день украшал себе ими жизнь.

Картофель для офицеров жарили отдельно на огромной сковороде, и резкий запах свиного сала и его шипенье заполняли все помещение кухни и буквально валили нас с ног. За офицерской сковородой повариха неотступно следила сама, переворачивала румяный картофель большим ножом, пробовала иногда коричневые кусочки с его кончика, а мы, затаив дыхание, смотрели на это голодными глазами.

Однажды я носил дрова. Все было неудачно с самого утра, мне не удавалось достать ни кусочка съестного, и голод мучил, а тут еще этот запах…

Заметив, что повариха на минуту отлучилась от заветной сковороды, я пошел с охапкой не по обычному пути, а вокруг плиты. Поравнявшись со сковородой, не замедляя хода, прижал дрова к груди сверху правой рукой, а левой снизу схватил

пригоршню шипящих желто-коричневых квадратиков и мгновенно сунул их в карман брюк. Потом грохнул дрова у топки и убежал в пустую раздатку, где быстро поел свою добычу. Ладонь я обжег, горячее сало просочилось сквозь карман и обожгло ногу, но разве все это имело какое-нибудь значение!

Совесть грызла меня, я называл себя вором, но голод грыз еще сильнее…

Ох как много вообще сдвинулось, изменилось со времени моего первого обеда в армии!

Были и другие возможности подкалымить на кухне. Часто после основной раздачи повариха выдавала наряду остатки супа — каждому доставалась миска довольно густых щей, а после этого дежурным разрешалось выскрести котел. Однажды делить остатки щей взялся Жижири. Когда он делил что-либо, смотреть надо было в оба — не было ни разу, чтобы он разделил честно. Так и сейчас: он что-то долго мешал в бачке, потом быстро разлил всем жидкий верх, а оставшуюся гущу вылил себе в миску. Поднялся гомон. Возмутившись, я крикнул:

— Этому гаду никогда нельзя давать делить еду!

— Не тебе ли делить, жидовня! — в бешенстве огрызнулся Жижири.

Я выскочил из-за стола и с ходу ударил его в грудь. Он схватил свою миску с супом и бросил мне в голову. Горячий суп залил глаза и лоб. На минуту я перестал видеть и вслепую вцепился в него, стараясь попасть кулаком в лицо. Нас растащили. Я стер с лица и гимнастерки мокрые ошметки капусты, и мы долго переругивались, дрожа от бешенства и возбуждения.

В одно из моих очередных дежурств по кухне, уже весной, к нам прислали новую партию солдат, которых куда-то перегоняли, кажется, на фронт.

Выдавая миски на столы, я случайно заметил худого бритого солдатика с большими карими глазами. Скользнул глазами и пошел дальше, но тут же обернулся и бросился к нему. Павка Дах! Встретить здесь, в Канаше, ленинградца было бы для меня уже радостным событием, а встретить знакомого — одноклассника — это было чудо!

Я обрадовался Павке как родному, бросился на кухню, выпросил у поварихи положенную мне миску супа и принес ему. Он тоже обрадовался. Во время еды Павка рассказал мне, как в блокаду он вместе с другими мальчишками забрался в продуктовый магазин. Его поймали, судили, он просидел пару месяцев, потом освободили и призвали в армию. В классе мы с ним не дружили. У меня была своя компания, у него своя. Он был

добрым и слабовольным парнем, может быть, поэтому и был втянут в историю с магазином, а может быть, голод заставил…

Глаза у него были необыкновенной красоты — огромные, светло-карие, с густыми черными ресницами.

Его позвали строиться, и он ушел, махнув мне рукой. Я, наверное, был последним из знакомых, кто видел его. Павка Дах погиб на фронте в 1944 году.

Старший брат его, Яша, одноклассник сестры, тоже погиб на фронте.

— А кого это ты там супом угощал? От богатий найшовсь! — спросил меня Пелепец после того, как Павка исчез за дверями.

— Товарища встретил, одноклассника.

— Та просто еврей еврея побачив, та и возрадовался, — ухмыльнулся Жижири.

Возражать было нечего.

Он опять оказался прав, этот подонок Жижири.

Стрельбы

Сегодня у нас первые стрельбы. Наконец-то! Нам выдают боевые патроны. Настоящие!

К этому дню уже давно шла подготовка: в течение месяца мы обучались обращению с винтовкой, изучали устройство затвора и патрона. Команда «Тремя патронами заряжай!» до сих пор не выходит у меня из головы и отдается ноющей болью в пальцах.

Было это так. Мы занимались на улице огневой подготовкой. Мороз стоял сильный, и сержанты постоянно меняли виды упражнений, делали частые перекуры, заставляли бегать. Но все это плохо помогало — мерзли мы зверски. Особенно доставалось рукам от стылого железа винтовок: холод проникал сквозь рукавицы, и пальцы коченели. Во время каждого перерыва мы составляли винтовки в пирамиды и изо всех сил хлопали рукавицами.

Ожидали проверяющего из полка. Предстоял смотр готовности роты к предстоящим стрельбам, ответственный смотр. Командиры нервничали и гоняли нас сильнее, чем обычно. Ждали проверяющего с утра, уже кончался второй час занятий, а его все не было. Наконец он появился — высокий офицер в чине майора — и сразу направился к нашему взводу.

Барсуков был в тот день болен, и командовал нами Филиппов, общий надзор за ротой осуществлял Ткаченко.

Нас быстро разбили на отделения и построили. У каждого была обойма с тремя холостыми патронами. По команде «К бою!» нужно было упасть на снег, взять винтовку в левую руку наизготовку, а правой держать наготове обойму. Затем следовала команда «Тремя патронами заряжай!». Нужно было быстро отвести затвор, вставить обойму, закрыть затвор и доложить: «Боец такой-то к стрельбе готов».

Последовала команда. Мы упали, выставив винтовки. Майор медленно обошел лежащий строй, сам поправил у некоторых винтовки. Мы замерли, ожидая команды «Заряжай!», однако вместо нее услышали «Отставить!».

Начальство оказалось чем-то недовольным. Снова команда «К бою!» и снова «Отставить!».

Нас поставили по стойке «смирно», и майор лично прочитал нотацию о том, как нужно выполнять команду — «дружно и весело». Мы стояли вытянувшись, без движения, а мороз доканывал нас, руки, держащие винтовку, ныли нестерпимо.

— К бою!

Упали. Локоть уперт. Винтовка на вытянутой левой. Правая

держит обойму.

Майор снова обошел строй. Хоть бы скорее команда «Заряжай!». Еще несколько минут этой пытки и заряжать будет просто физически невозможно.

Майор поправил винтовки. Не все смотрят точно вперед. Неужели «Отставить!»?

— Заряжай!

Резко отвел затвор, сунул туда обойму, попытался большим пальцем прижать патроны, но пальцы не послушались, обойму заклинило. Снова нажал — никак.

Майор, Ткаченко, Филиппов смотрели в мою сторону. В отчаянии против всех правил ударил кулаком по обойме — пошло! Закрыл затвор, выкрикнул, что к стрельбе готов, оглянулся по сторонам. Рядом со мной лежал Пашков. Он отчаянно возился с винтовкой, патроны у него выскочили из обоймы и рассыпались по снегу. Неуклюжей рукавицей он пытался их собрать, но тщетно. С другой стороны Замм. Он зарядил кое-как, но, не выдержав боли в коченеющих пальцах, положил винтовку на снег и хлопал рукавицей об рукавицу. Дальше по цепи дела не лучше, только один-два выкрика «К стрельбе готов!», остальные молча возились с винтовками, лапая их негнущимися рукавицами.

Полный конфуз. Филиппов бегал за нами, помогая отстающим, майор неодобрительно качал головой. Ткаченко повернулся к нам и сам подал команду своим зычным голосом:

— Встать!

Встали. Хоть бы на минутку дали похлопать руками — зарядили бы мы эти проклятые винтовки…

— Снять рукавицы!

Мы стояли молча, не поверив команде. Никто не пошевелился. Ткаченко побелел от злобы.

— Снять рукавицы, сказано! Ну?! Рукавицы на снег!

Рукавицы полетели на снег. Пальцы прилипли к ледяному стволу.

— К бою! Тремя патронами заряжай!

Ткаченко командовал быстро, без остановок, понимая, что мы сможем выполнить упражнение в считанные секунды — дальше голые руки откажут.

Попытался что-то сделать. Левая рука — крюк, она еще выполняет свою функцию, держит ствол, но правая… Красные скрюченные пальцы соскользнули с затвора… Где-то рядом в цепи всхлипывание. Кто-то выкрикнул, как застонал: «Та нэ можно ж так!..»

— Встать! — это уже майор.

Встали. Несколько винтовок осталось лежать — не смогли поднять. Кто-то, уже не таясь, плакал в строю. Я тоже с трудом подавляю слезы. Нестерпимо больно.

— Одеть рукавицы! Старшина, объявите перерыв!

Сказав еще пару слов Филиппову, майор удалился. Ткаченко с ним, что-то объясняя на ходу.

Филиппов молча собрал наши винтовки и сам, ворча что-то под нос, уложил их в пирамиду. Мы прыгали, хлопали себя, бегали, топтались на месте. Кровь постепенно возвратилась к пальцам, но болеть они не перестали…

Но это все в прошлом.

А сейчас мы бодро, «дружно и весело», с песней шагаем на полигон.

Эй вы, поля, зеленые поля!
Лихие автоматчики на линию огня…

Полигон. Огромное заснеженное поле. Вдали видна серая кромка леса, невдалеке от нас окопы, из которых торчат мишени — фанерные черные головы фашистов. По ним будем стрелять.

Нас разбивают на отделения и выдают боевые патроны. Перед этим Барсуков проводит краткую беседу: гильзы на строгом учете, все три гильзы после стрельбы сдать. За утерянную гильзу — «губа». Задание: лежа произвести три выстрела по мишени. Расстояние до мишени сто метров. За три попадания — пятерка, за два — четверка, за одно — тройка. Промахов быть не должно: сто метров — это каждый попадет. А если не попадет, — голос у Барсукова начинает звенеть, — пусть пеняет на себя.

Нас разводят по местам.

Сегодня первые полковые стрельбы — это очень ответственно. Проводятся негласные соревнования между батальонами, ротами, взводами. На полигоне присутствует сам командир полка, бегают связные от штаба полка, мелькает маленькая фигурка нашего командира батальона.

Серые четырехугольники подходящих рот ползут по белому полю и растекаются в разные стороны.

Ухают выстрелы. Кто-то уже стреляет.

— Первое отделение, в цепь! На боевые позиции — шагом марш! — командует Филиппов.

Он сегодня озабочен и деловит, хлопочет, подсказывает, ободряет. Мы лежим в цепи. Вот оно — моя мишень — чернеет над окопом. Зажимаю в рукавице три драгоценных патрона, грею их. Хорошо, что сегодня мороз не сильный!

— Первым патроном — заряжай!

Патрон мягко уходит в щель. Досылаю затвор, нащупываю спуск. Ноги раскинуты как положено, локоть уперт, глаза ищут мушку в прорези ствола. Вот она. Теперь нужно, чтобы совпали три точки: прорезь, мушка и мишень. Неужели попаду?

— Огонь!

Приклад довольно сильно отдает в плечо. А звук-то какой! Сила! Рядом раздаются выстрелы соседей. Отвожу затвор, вылетает теплая гильза. Скорей ее в карман — лишь бы не утерять!

Встали. Ждем результата. Филиппов бегает за нами, волнуется. Мы сами в напряжении — как там? Неужели мимо?

Объявляют результат. Из всего отделения только две пули поразили цель. У меня промах. Снова лежу и целюсь.

— Ты не торопись, — подходит Филиппов. Голос его непривычно участлив. — Ты как бьешь — в центр?

— Да.

— А ты стреляй под центр, сведи мушку немного вниз. Спокойно. Спуск не дергай, нажимай плавно. Давай. Попадешь.

Снова целюсь, внимательно выполняя его советы. Вот мушка уходит чуть вниз.

— Огонь!

Плавно нажимаю спуск.

— Огонь! — последний выстрел.

— Боец Разумовский стрельбу закончил!

Нас собирают и объявляют результаты. Лучше всех стрелял третий взвод — у них несколько пятерок, много четверок, хуже — второй. Результаты нашего взвода: у нас две четверки, из них (ушам своим не верю) одна моя, три тройки, остальные 115 пуль — в воздух.

Наш взвод — худший в полку. Барсукова вызывают сначала в штаб батальона, потом в штаб полка. Возвращается он оттуда разъяренным, и мы чуем — быть беде.

Он бледен, опять горят красные пятна на лице. Не глядя на нас, что-то резко бросает Филиппову.

Тот строит взвод и выводит его с полигона в поле, все дальше и дальше. Куда?

Город и казармы остаются слева, а мы поворачиваем в другую сторону и заходим все дальше в бескрайнюю белизну. Куда нас ведут?

— Взвод! Стой!

Что дальше?

— Одеть противогазы!

Сбрасываем шапки и натягиваем на лица холодную, жесткую резину. На морозе она потеряла свою эластичность и налезает с

трудом. Стоим в противогазах. Воздух из гофрированной трубки идет с шумом и пахнет резиной. Стекла запотевают, сквозь них туманятся размытые темные пятна на белом фоне.

— Взво-о-од! Ложись!

Падаем на снег.

— По-пластунски вперед!

Ползем в рыхлом снегу. Очки залепляет снег. Пытаюсь протереть свободной рукой, но сразу же проваливаюсь в снег и отказываюсь от дальнейших попыток. Ползем в снегу вслепую, натыкаясь друг на друга…

— Взвод! Встать! Бегом марш!

Бежим вперед по колено в снегу. Дышать в противогазе трудно. Шапка не держится на скользкой резине и поминутно слетает с головы. Протираю очки, ищу шапку… Где винтовка? Вот она…

— Взвод! Ложись! По-пластунски вперед!

Выбиваемся из сил. Ползем. Бежим. Задыхаемся, снова ползем. В голове упорная антиуставная мысль — за что? За что нас мучают, гоняют, как собак? Может быть, не поняли люди, как стрелять, ведь в первый раз в руках боевая винтовка, ведь сам я понял только тогда, когда мне объяснили толково и без крика…

— Бегом марш!

Два часа барахтались мы в снегу, потом скорым шагом вернулись в казарму совершенно измученные и обессиленные.

После вечерней поверки нам объяснили — это наказание за плохую стрельбу. Пелепец, у которого была вторая четверка, не выдержал и прогнусил обиженно:

— А нас-то с Разумовским за что? Мы-то хорошо стреляли…

— В армии закон: один за всех, все за одного! Зарубите себе это на носу! — рявкнул Филиппов.

Несколько позже он удивил меня. Как бы извиняясь, он отозвал меня в сторону и, доверительно понизив голос, сказал:

— Ты не думай, что мы зря вас сегодня гоняли. Это сволочье — оккупированные — так и норовят отлынить от армии. У них и года все поддельные: думаешь, они все с двадцать шестого года? Черта с два! Говоришь, они стрелять не умеют? Не хуже тебя все стреляют, а просто думают: если буду метко стрелять — скорей на фронт пошлют. Понял? Вот то-то! Не больно-то верь им. Из них, может, половина у немцев служила, почем ты знаешь?

Было в этом что-то очень несправедливое, оскорбительное, огульно недоверчивое по отношению к людям, вышедшим из-под немецкой оккупации.

Но впоследствии, уже едучи на фронт, я убедился, что не все на свете так просто.

Обыск на снегу

— К но-ге! — Бум-бум-щелк!

— На пле-чо! — Бум-бум-бум!

Яркое февральское солнце голубит снег, бросает резкие тени от ближайших домов. Морозно, но мы непрерывно упражняемся с винтовкой, и это согревает. Взвод разбит на три отделения, и каждым командует свой сержант.

— На пле-чо! — Три ровных стука.

— На ру-ку! — Два стука.

Занятия проводит сам Барсуков. Он быстро ходит молодцеватой походкой, заложив руки за спину, его орлиный профиль мелькает то тут, то там. Сержанты стараются, мы тоже, три месяца учений не прошли даром — упражнения выполняются нами четко. Барсуков доволен. Мы любим заниматься с ним. Он часто дает передышки, перекуры, заставляет бегать, чтобы согреться.

Так и сейчас. Он поворачивается к нам спиной, вытягивает правую руку в сторону и звонко командует:

— Взво-оод! Становись!

Мы быстро выстраиваемся за его спиной. Он поворачивается.

— Смир-на! Разойдись!

Мы разбегаемся в разные стороны (так положено), а потом собираемся отдельными кучками, кто-то закуривает, большинство пляшет на месте, зажав винтовки под мышками и похлопывая рукавицами. Барсуков с сержантами невдалеке тоже приплясывает на снегу.

— Кончай перекур! — возвещает Филиппов. — Первое отделение — становись!

Бегом в строй. С Филипповым шутки плохи. Любит порядок.

— Нале-во! Шагом марш! Бегом марш! Стой! Равняйсь! Смир-на! Ряды сдвой! Первая шеренга! Три шага вперед — шагом марш! Оружие положить! Оружие взять!

Лихо командует Филиппов. Знает свое дело, этим, наверное, и держится в запасном полку. И не замерзнешь с ним.

От домов отделяется какая-то темная фигурка и направляемся к нам. Женщина. Молодая, растрепанная, без пальто, темный платок накинут на плечи. Она бежит к нам, и большие валенки неуклюже проваливаются в снег. Что ей надо?

— Товарищ командир! Товарищ командир! — срывающимся голосом произносит она и вдруг плачет, закрывая глаза платком.

— Что такое? — подходит Барсуков.

— Карточки… Хлебные карточки…

Худенькая фигурка в больших валенках трясется на снегу.

— Ваш солдат заходил… Просил пить… и хлебные карточки… Двое детей… Муж убит на фронте… — Она прислоняется к Барсукову, головой на плечо, вся — комок горя и отчаяния.

— Взвоо-од! — взрывается Барсуков. — Становись!

Мы в строю.

— Который?

— Вот этот! — показывает женщина на Жижири.

Барсуков белеет от бешенства. Быстрыми шагами, почти бегом направляется к Жижири.

— Нэ брав я, нэ бачыв той карточки! — кричит Жижири. — Шо вона, сказылась?

— Молчать! Филиппов! Обыскать!

Филиппов засовывает руки в карманы шинели Жижири, потом снимает с него шинель и ищет в брюках и гимнастерке.

— Снять гимнастерку! — хрипит Барсуков. Красные пятна бегут по его лицу.

Жижири снимает гимнастерку, разматывает обмотки, снимает ботинки. Женщина, вся подавшись, вперед, напряженно следит за обыском.

— Нету, товарищ лейтенант! — говорит Филиппов.

— Я ж казав — нэ брав, — ворчит Жижири, — тильки поморозылы чоловика…

Женщина снова плачет. Барсуков стоит как каменный. На скулах играют желваки, лихорадочные пятна покрыли все лицо.

— Обыскать весь взвод! — хрипит он и рубит воздух рукой. — Всех по очереди! Раздеть до белья!

Сержанты бросаются выполнять приказ. Обыскивают Перлыка. Он стоит в одном белье и дрожит. Серое белье на белом снегу. Карточек нет. Молодчий сам сбрасывает одежду и выворачивает карманы — нет, Парамонов — нет, Лебедев — нет.

Следующая очередь моя. Я расстегиваю ремень, и вдруг Пелепец выбрасывает на снег смятые бумажки…

— Вин пэрэдав мэни… А шо, я ничого нэ знаю… — нудит он, когда Филиппов подскакивает к нему.

— Эти? — спрашивает Филиппов женщину.

— Они! — Она хватает, лихорадочно пересчитывает и, забыв поблагодарить, бежит к дому, судорожно сжимая карточки в посиневшем кулаке.

— Ну, сволочь! — Барсуков наотмашь бьет Жижири по лицу. Раз! Другой! Третий! Тот падает. Встает. На лице кровь.

— Построить взвод! — хрипит Барсуков.

Перед взводом, стоящим по стойке «смирно», с Жижири

снимают пояс, и Барсуков собственноручно с бешенством срывает с него погоны. В сопровождении Канищева его отправляют в штаб батальона, а оттуда — на «губу» на семь суток.

Вернулся он с «губы» молчаливым, с синевой под глазами, бледным и притихшим. На вопросы не отвечал. Когда надевал шапку — морщился, на голове — засохшие струпья — память о «присяге».

Ночная тревога

— Четвертая рота! В ружье!

Я толкаю Замма в бок, мы скидываем наше одеяло и кубарем скатываемся с нар. Нога моя нащупывает деревянный приступок, вторая старается угодить между Лебедевым и Кузнецовым, которые уже поспешно мотают портянки.

— Быстрей! — мечется полуодетый Канищев. Мелькают руки с ботинками, взлетают рукава гимнастерок, звенят пряжки поясных ремней. Тускло светит казарменная лампочка.

Надеваем шинели, подпоясываемся, из коридора слышны шум и суматоха — смежные взводы уже выходят.

— Становись!

С грохотом становимся, достегивая последние крючки, одергивая складки.

— Выходи строиться!

Выбегаем в коридор. На часах половина третьего. Что такое? Почему строится вся рота? Может быть, опять ночные учения? Тогда почему без оружия? Наверное, дадут дополнительную команду. Раньше о ночных учениях предупреждали, сейчас я замечаю, что сержанты сами не понимают, в чем дело.

Филиппов вполголоса разговаривает с Канищевым, потом торопит нас, потом куда-то исчезает.

Заспанные, теряя в стылом коридоре дорогое пододеяльное тепло, стоим мы в смутной тревоге, ожидая дальнейших распоряжений.

Проходят томительные минуты. Сержанты куда-то исчезли, офицеров нет, и рота начинает гудеть, как растревоженный улей.

— Обратно по снегу гонять будут!

— Учения, чи шо?

— Нэ учения — маневры…

— А ты виткиля знаешь?

— Чув.

— Переводить будут. В Кулебаки.

— А может, в маршевую?

Оборачиваюсь. Ну конечно — это Жаров. Он бредит фронтом и сейчас первый произносит слова, которые взбудораживают всех.

— Сказали бы!

— Хрен тоби скажуть!

— Нет, это точно на фронт! — зудит Жаров. — Скоро наедимся.

— Там наисся… Девять грамм свинца…

— Кабы на фронт, то днем бы…

— Тихо! Борисов идет!

Сержанты влетают в строй.

— Равняйсь! Смирно! Равнение на середину! — выпаливает Филиппов. — Товарищ старший лейтенант! Первый взвод…

— Отставить!

Я стою по стойке «смирно». Руки прижаты к бедрам, груди вперед, глаза «едят» начальство.

У начальства фуражка на затылке, диагоналевая гимнастерка выбилась из-под ремня, мутные глаза вылезли из орбит… Комроты с поднятой под козырек рукой идет вдоль строя, пошатываясь. За ним, метра за три, тоже с рукой под козырек, выбрасывая ноги как при церемониальном марше, следует старшина Ткаченко.

Я стою в первом ряду, и ноздри мои улавливают водочный дух. Дойдя до противоположной стены, Борисов поворачивается через левое плечо и, не удержавшись, врезается в строй третьего взвода. Его ловят, поддерживают и ставят на ноги. Кто-то из солдат поднимает и подает ему фуражку. Он механически надевает ее, медленно оглядывается на подавшего фуражку солдата и вдруг бешено и высоко орет:

— Как стоишь, сволочь? Смирр-наа! Как стоишь? И, внезапно повернувшись, поднимает руку к козырьку и снова шествует вдоль коридора, сопровождаемый старшиной.

Странная картина. Ночь. Тусклая лампочка освещает застывшую роту, перед которой ходят туда и обратно, нелепо козыряя, два вдребезги пьяных человека… Вот они опять повернули и опять идут тем же манером четвертый раз. Когда это кончится? Становится жутковато. Сейчас они могут сделать с нами все что угодно. Попробуй не подчинись!

— Рота! — вдруг рявкает Борисов и останавливается.

Пауза. Напряженно ждем.

— Рота! — продолжает он, еще больше выпучив бесцветные глаза. — Отставить!.. Старшина! Постройте… роту… для обыска…

— Рота, слушай мою команду, — гнусит Ткаченко и громко, утробно икает, — кто-то из вас слямзил у старшего лейтенанта деньги. Тридцать рублей. Если сейчас отдадите, пойдете спать… Если нет — до утра по стойке «смирно»…

— Смир-ноо! — вдруг выкрикивает Борисов, хотя мы и так стоим по стойке «смирно».

По роте гул. Прояснилось. Мне даже интересно — что дальше?

— Первый ряд! — командует старшина. — Три шага вперед, шагом марш!

Бум-бум-бум.

Теперь мы стоим у противоположной стены, и я оказываюсь носом к носу с Борисовым, Он смотрит мне в глаза тупо и неподвижно. Красное лицо его перекошено. Глаза белые — то ли от злости, то ли с перепоя. С минуту он смотрит на меня, потом переводит взгляд дальше.

Пронесло.

— Сержанты! Обыскать! — кричит старшина.

— Первое отделение! Пояса снять! Карманы вывернуть! — командует Филиппов.

По ряду шум и движение. Сержанты хлопают нас по карманам, по обмоткам (деньги можно спрятать в обмотку), я слышу, как Филиппов, не обыскав меня, буркает себе под нос: «Додумались, гады, поспать не дают, падлы…»

— Второй ряд! Два шага вперед, — поет старшина, — шагом-арш!

Бум-бум.

Начинается обыск второго и третьего рядов. Сержанты снуют между рядами, солдаты выворачивают гимнастерки, тихо ругаются, и сквозь разноголосый шум слышен хриплый голос-лай Борисова:

— Отставить разговоры! Молчать, сволочи, мать-перемать!..

Обыск закончен. Ничего не нашли. Сержанты докладывают о результате.

Минуту Борисов думает, опустив голову, потом вскидывает ее и кричит:

— Второй ряд! Два шага назад, шагом марш!

Бум-бум!

— Первый ряд! Три шага назад, шагом марш!

Бум-бум-бум!

— Равняйсь!

Мы вытягиваем шеи направо, и, скосив глаз, я вижу, что часы уже показывают без двадцати четыре.

— Смирр-ноо!

Тишина. Все ждут — что дальше?

— Гимн Советского Союза! — торжественно произносит Борисов. — Запевай!

Молчание. Такого не ожидал никто.

— Запевай! — глаза Борисова от бешенства снова вываливаются из орбит.

Тонко и нудно затягивает кто-то из третьего взвода: «Союз нерушимый…», и мы подхватываем сиплыми голосами: «… республик свободных…»

Борисов и Ткаченко торжественно берут под козырек,

поворачиваются и под звуки гимна начинают снова вышагивать вдоль строя. Впереди Борисов, за ним Ткаченко.

Мы поем и славим наше свободное отечество, дружбы народов священный оплот, а два пьяных идиота тупо шагают перед сотней голодных и невыспавшихся парней, которые нарочно тянут пение, так как не знают, какая идея взбредет в голову начальству, когда гимн закончится.

Тянутся последние строки гимна, когда в конце коридора появляется какой-то незнакомый офицер. Он быстро идет к Борисову и что-то резко говорит ему. Я замечаю четыре звездочки на его погонах. Капитан. Не наш. Может быть, из штаба полка?

— Отставить! — рявкает Борисов.

Тишина.

Комроты и старшина уходят за капитаном, а Филиппов бежит за ними в штаб батальона, затем возвращается и весело кричит:

— Вольно! Рота, разойдись!

Кучей кидаемся мы к двери. Давка, шум. Дорога каждая минута. Два часа сна пропало зазря. Пулей раздеваемся и лезем под одеяло.

Никаких разговоров.

Скорее спать.

Спать до подъема осталось немного.

Зимний поход

— Четвертая рота! Подъем!

Летят в сторону одеяла, вскакивают в полутьме серые тени, лихорадочно натягивают на себя одежду.

— Умываться — бегом марш!

Выбегаем в холодный вестибюль.

У длинных жестяных рукомойников толпа в грязно-белых рубашках. Бледные мокрые лица, синевато-красные уши, от мокрых рук идет пар. Все делается наспех, моемся без мыла, его нет.

Быстро плещу себе на руки ледяную воду, крепко тру их, несколько раз провожу мокрыми руками по лицу. Долго здесь не задержишься — холодно, и в спину тычут — освобождай! С боков толкаются, всем тесно, рукомойники не рассчитаны на такое количество людей. Вытираюсь кое-как и бегу в казарму. Там все-таки теплее, и можно, надев гимнастерку, постоять минуту-две около теплой трубы, если место не занято.

— Первый взвод! Становись!

С грохотом становимся поотделенно. Впереди меня сутулые плечи Замма, сзади дышит Пашков.

— Напра-во! Равняйсь! Смирно! Равнение на середину! Товарищ лейтенант! Взвод выстроен. Докладывает сержант Филиппов!

Сказал как отчеканил. Даром что маленький, а боевой у нас сержант!

Барсуков обходит взвод. Его острый профиль сегодня как-то особенно четок. Яркие пятна резко граничат на белом, чистом лице.

— Вольно! — командует он, и мы расслабляем левую ногу. — Слушайте меня внимательно, — говорит Барсуков, резко повернувшись. Он всегда резок в движениях, голубоватая шинель сидит на нем ладно, портупея браво пересекает грудь, шапка из серой цигейки ловко сидит на голове, сапоги всегда ярко начищены. Щеголеват наш командир. И, пожалуй, красив какой-то нервной, броской красотой.

— Сегодня начинаются учения в полевых условиях…

Мы притихаем.

— После завтрака получить лыжи, подогнать. В восемь ноль-ноль выходим. На трое суток. Ночевка в лесу. Общий марш около шестидесяти километров. Сержант! Проверьте готовность взвода, получите вещмешки, котелки, сухой паек.

Лейтенант выходит, а мы сбиваемся в плотную кучу и

обсуждаем предстоящее.

— Ну шо воны дадуть на той сухой паек!.. — жестикулирует Жижири. — Хлиба трохи да крупы того мене…

— Да половыну сержанты заберут до сэбэ, — вставляет Перлык.

— Потянем ноги шестьдесят километров…

— Хиба ж можно ночуваты у лиси у таку люту морозыну!

— На завтрак становись!

Выходим на улицу и сразу замечаем, что мороз стал сильнее. Пар изо рта вырывается клубами и стоит белым облаком над нами. Филиппов сегодня не придирается, не заставляет по два, по три раза начинать марш с места. Он озабочен и торопится.

Столовая встречает знакомым запахом баланды, звоном мисок, разноголосым шумом.

Щи, хлеб, сахар, чай. Все.

— Выходи!

Приятное закончилось. Теперь в поход. Каков он будет? Как мы будем ночевать в лесу? Выдержу ли шестидесятикилометровый переход сейчас, когда сил осталось так мало?

Лыжи неожиданно достаются мне хорошие: легкие, светлые, с новыми креплениями. Пробую их на ходу. Идут хорошо, и ноги не забыли автоматику движений.

Кругом все прилаживают лыжи, озабоченно снуют сержанты, раздают вещмешки, распределяют сухой паек.

Мимо пробегает на лыжах Борька Юхимец. Автоматически отмечаю его легкий раскатистый спортивный шаг. За ним трюхает Жигалка, виляет задом.

— Жигалке хлеб не давать! Опять сожрет половину!

Замм ковыляет мимо меня. Левая лыжа наезжает на правую. Падает.

— Перемени лыжи!

— Нет больше лыж, — уныло отвечает он, счищая снег с шинели.

— Да ты перемени лыжи на ногах. Ты когда-нибудь ходил на лыжах?

— Я? Нет! Тоже мне удовольствие!

Вот чудило…

Мысленно проносятся передо мной Угоры, утонувшие в снегу, и наши лыжные вылазки ночью. Мы собирались втроем: Олег, Женька и я, становились на лыжи и, миновав почту, выходили на высокие склоны Унжи.

…Снег под луной сверкает зеленоватыми округлыми пятнами, окруженными глубокой черной синевой, где-то внизу

елки, запорошенные снегом, причудливо рисуют странный узор; Унжа лежит далеко внизу голубовато-зеленой полосой.

Тишина. Сзади темные силуэты изб с красноватыми огоньками в окнах, а впереди безмолвие.

Олег гикает и срывается вниз. Я отталкиваюсь палками и лечу за ним. Лыжи все убыстряют ход, я сгибаю ноги и прижимаю палки к бокам, отнеся их назад, ветер уже свистит навстречу, выжимая слезы из глаз. Только бы удержаться! Еще быстрей несут лыжи, лечу почти на корточках, весь подавшись вперед, и каким-то седьмым чувством сохраняю равновесие… Голубые и синие пятна летят мимо. А вот и снежная гладь реки. Распрямляюсь понемногу — раз! — и я взлетаю на крутую горку противоположного берега.

Невдалеке смеется Олег:

— Ну как?

— Здорово! — выдыхаю я и утираю выжатые ветром слезы.

Жарко. На душе праздник, и лунная красота воспринимается удивительно ощутимо. Морозный воздух, как яблоко, — душистый и сладкий…

Мы поджидаем Женьку, который, благополучно съехав с большой горы, взлетает на маленькую и кубарем валится в снег. Мы хохочем на всю Унжу и опять забираемся на высокий берег, чтобы снова и снова почувствовать себя летящей в голубом свете птицей!..

— Рота! В ружье!

Рота выстраивается перед казармой. Мы в полном походном снаряжении. Лыжи стоят у правой ноги.

Борисов ходит перед нами и объясняет боевую задачу. Сегодня он, кажется, трезв, и от этого еще злее, чем всегда. Короткие фразы и слова вырываются без видимой связи и повисают в воздухе. Командиры взводов докладывают о готовности.

— На лыжи становись!

Шум, скрип ремней, стук лыж об автоматы.

— Повзводно… — хрипит Борисов, — шагом… марш!

Пошли. Поплыли назад кирпичные дома, покосившиеся черные бараки, дымки над трубами унылых канашских жилищ. Идем гуськом друг за другом, постепенно входя в темп. Филиппов прокладывает лыжню. Маленький, юркий, он уверенно бежит на лыжах, иногда оглядывается назад, досадуя на тяжело идущего за ним Перлыка. За Перлыком идет Парамонов, умело идет: чуваш, лыжи знакомы с детства. Молодчий идет ровно и сильно, длинные ноги размашисто мерят снежную целину. Я обгоняю Замма и скольжу за Молодчим.

Мы уже оставили город и вышли на лесную дорогу, которая уводит нас в тоннель густого осинового леса. Лыжня становится четкой и удобной, сердце врабатывается в ритм бега, я согреваюсь и иду легко. Сквозь белесую мглу вокруг выглядывает солнце, и все моментально хорошеет, преображается, лес начинает светиться и цветиться, снег играет голубым и розовым, и от этой забытой красоты, от горячего тела в ритмичном движении становится хорошо. Лес сменяется полями, поля снова лесом, а мы идем и идем. Бодрость и задор первых километров начинают сменяться усталостью, лямка автомата натирает плечо. Темп наш угасает, мы идем медленнее и ждем привала, где нам обещали дать кое-что из сухого пайка. Привал. Раздают холодные ломти хлеба и кусочки сала. Мы осторожно перекладываем из ладони в ладонь небольшие беловатые квадратики, не решаясь отправить в рот это солоноватое чудо. Подобраны с шинели все крошки, облизаны пахнущие салом пальцы, и снова лыжи на ногах, автомат бьет по спине, а мы идем в сумерки январского вечера, испытывая после еды мучительное чувство голода.

Уже совсем темнеет, когда нас заводят с дороги в лес и объявляют ночевку. Все предельно устали, но мысли о предстоящем отдыхе, особенно о возможном горячем ужине, подбадривают нас и заставляют двигаться быстро, действовать споро.

Барсуков распоряжается, четко и деловито:

— Первое отделение! Снимать снег до земли.

— Второе отделение! Строить шалаш. Рубить жерди.

— Третье! В лес за лапником и дровами.

Мы расчехляем лопатки, опускаемся на колени в снег и начинаем вырезать большие пласты слежавшегося наста.

Глубок снег в чувашском лесу. Мы режем, роем и выкидываем тяжелые пласты, а земли все не видно. Наконец лопатка упирается во что-то твердое, и очередная порция снега выбрасывается пополам с землей и присохшими листьями.

Становится совсем темно. Мы работаем все упорнее — только в движении можно согреться. Снуют темные силуэты, рядом со мной копошатся в снегу согбенные фигуры товарищей. Мы подчищаем остатки снега. Чернеет дно прямоугольной снежной ямы площадью около двадцати метров. Сверху бросают валежник, и Филиппов поджигает его. Маленький желтый огонек, внезапно возникший среди холода и тьмы, завораживает всех. Усталые солдаты останавливаются с грудами дров и охапками еловых веток в руках и смотрят как зачарованные на растущий, разгорающийся костерок.

— Что встали? — кричит Филиппов. — А ну, за дровами

бегом!

По колено утопая в снегу, идем в лес, на ощупь угадывая стволы деревьев и спины товарищей. Мороз крепчает. Невдалеке мы замечаем красные отсветы костров второго и третьего взводов. Черные тени снуют вокруг них, копошатся, тащат поклажу к своему муравейнику.

Нарезав еловых лап и набрав дров, возвращаемся к своему взводу. На всей площади обнаженной нами земли пылает, краснея и треща, веселый прямоугольник огня. Филиппов и Смирнов длинными палками разгребают горящие ветки, раскидывают их по углам. Мы стоим как завороженные у края светящейся ямы, мечтая, чтобы нас уже больше не гнали обратно в лес, но идти приходится снова и снова, и только когда куча хвороста начинает быть выше наших голов, а костер превращается в угли, нам приказывают начать строить шалаш. С трудом двигаясь от холода, мы возводим толстые жерди, переплетаем их тонкими, укрываем лапником в кромешной тьме. Рядом угадываются голоса товарищей, двигающихся автоматически, работающих, падающих и снова встающих.

Последнее дело: лапник укладывается на тлеющие угли, «двери» заделываются плащ-палаткой от ветра. Наш дом готов.

Мы сидим скорчившись, прижавшись друг к другу, молча и напряженно глядя на пылающий в центре костер, на ведро с шипящим тающим снегом и на грязно-желтые кубики пшенного концентрата, разбиваемые саперной лопаткой.

Как в полусне, оглядываюсь вокруг. Низко нависают темно-зеленые колючие своды над нами, и верхние языки пламени с хрустом лижут отдельные веточки. Чернеет ведро с кашей в рубине костра. Спереди пышет жаром, сзади поддувает стужа, зато снизу, из-под лапника, на котором мы сидим, тянет теплом. Здорово все-таки придумали — прогреть землю.

На коленях нарезают хлеб, и вот наступает долгожданный миг: мы отхлебываем из котелка горячую жидкую кашу, строго соблюдая очередь — сначала Замм, потом я. По полкотелка на двоих да обычная двухсотграммовая пайка хлеба.

Ночь. Слышно, как воет ветер за непрочными стенами нашего «дома». Ноги, придвинутые к костру, жжет, спина мерзнет. Ворочаются, бормочут во сне солдаты, поворачивая к костру то один бок, то другой.

У костра, нахлобучив шапку по самые брови, сидит Барсуков и задумчиво подкидывает ветки в костер.

— На лыжи становись!

В предрассветной мгле и стуже начинается обратный путь.

Темные ели расступаются перед нами. Серо вокруг. Ноги тяжело передвигают лыжи. Двигаемся медленно, проваливаясь по насту. Светлеет.

Старый лес уступает место перелеску. Перелесок выводит нас на дорогу. Трудно войти в ритм, а ведь это только начало. Впереди тридцать километров. Вытянем ли?

В Мантурово я довольно легко ходил сорок километров за восемь часов. А сейчас…

Движение часто задерживается тем, что кто-нибудь падает, а потом долго и неловко поднимается. Филиппов бегает то вперед, то назад, ругает и подбадривает падающих. Сам он бодр и легок на ноги, как и прежде.

Минуем чувашскую деревню. Глухие высокие заборы. Собаки лают из подворотен. Темные крепкие избы. Резные наличники. У околицы бабы, замотанные платками по самые глаза, молча смотрят нам вслед.

Деревня осталась позади. Навстречу нам катят сани с гармонистом. Слышна музыка, пение, сани убраны лентами, за ними еще одни сани. Поравнявшись с нами, сани останавливаются. Музыка смолкает. Смотрю на них из-под воротника. Девки в обнимку с парнями. Гармошка. Другая. Ленты, вплетенные в лошадиные гривы.

— Свадьба… — хрипло вздыхает кто-то сзади.

Снова идем, опустив головы, а ветер усиливается и колет лицо острыми снежинками. Лыжи проваливаются и совсем не скользят.

…Свадьба… Это из другого мира… Что там бывает, на свадьбе? Танцуют, играют, едят… много едят… Да, это из другого мира. Серая белизна окружает нас, мимо тянутся поля. Ветер налетает все яростнее, валит с ног, забирается под одежду. Все чаще падают солдаты, и все медленнее становится движение. Колонна ползет, останавливается, снова ползет медленно, как усталая гусеница.

— Стоо-оой!

Поворачиваемся спиной к ветру, руки в рукава, треплются полы шинели.

— Снять лыжи! — слышится издалека, и колонна приходит в движение. Отстегиваем лыжи, связываем их вместе. Бечевками приматываем палки. Скорее закоченевшие руки в рукавицы!

— На пле-чо! — Лес лыж взметает над головами.

— Шагом маа-арш!

Идти стало легче, несмотря на то что проклятый ветер вырывает лыжи из рук, бьет ими по голове.

Вперед. Вперед. Впереди казарма, горячая баланда, а кругом

серое стылое безмолвие.

Быстро наступают сумерки. Дня почти не было. Январь — дни коротки, а ночи длинны. Скрипит снег под ногами, качаются спины передо мной, сгорбленные, темные.

Опять теряется чувство реальности. Снег, снег кругом, шаг за шагом, шаг за шагом. Коченеет рука, держащая лыжи. Ноги в обмотках уминают снег. Стараюсь идти в след.

…Далеко-далеко мой дом, а может быть, и нет его уже. Падает человек передо мной, спотыкаюсь об него, но удерживаюсь.

— Руки помэрзли… — стонет он, и я узнаю Горьковца.

Барсуков подбегает к нам и поднимает упавшего. Я беспомощно топчусь рядом, все равно я бы не смог его поднять. Тьма обступила нас вокруг, и уже с трудом видно идущих впереди. Руки начинают коченеть всерьез… Голова туманится, и перед глазами рельефно всплывает далекий блокадный мираж… Ленинград… Снежная пустынная улица. Январь сорок второго…

…Я тащу тяжелое ведро по обледенелым ступеням, драгоценная вода плещется мне на валенки, они тоже все обледенели. Надо обязательно дотащить воду, но боль в закоченевших руках становится нестерпимой. Давлю ступеньки ногами. Еще ступенька, еще. Вот и облупившаяся коричневая наша дверь. Бью в нее окаменевшим валенком. Папа в черной меховой шапке, нахлобученной по самое пенсне, в сером ватнике и высоких валенках открывает мне дверь и забирает ведро. Я иду за ним, прижав к себе замертвелые руки, и слезы, помимо моей воли, катятся из глаз. Папа ставит ведро на холодную плиту, потом, стащив с меня варежки, укутывает руки байковым одеялом. Он трет их, дышит на них, а мне его очень жаль, такого большого, седого, в грязном сером ватнике, худого и небритого…

— Бодрись, ребята, бодрись! Скоро дойдем, уже десять километров осталось, — слышу я высокий голос Барсукова.

Этого еще не хватало — спать на ходу! Нельзя… Надо идти. Если упаду — некому тут меня поднимать…

Лыжи давят. Беру их в охапку. Хоть бы ветер стих, проклятый… Снова шагаем в непроглядную тьму…

Последние километры — самые тяжелые. Не помню деталей, помню только, что, шатаясь, добрели мы до казармы отдельными группами и поодиночке. Помню, как упал кто-то на кафельном полу за дверями и остался лежать, не в силах пройти оставшиеся десять метров до нар, как его тащили под руки, а ноги бессильно волочились по кафелю.

Медленно, как во сне, заходим в нашу комнату. Огромным усилием поднимаюсь на нары и падаю, последним движением

натянув на себя одеяло…

Через четыре часа нас поднимают на обед. Узнаю, что Горьковец, Кузнецов и еще трое отправлены в санбат с помороженными руками и ногами…

Письма

Есть в моей армейской жизни одна по-настоящему большая, неизменная и ни с чем не сравнимая радость — письма.

По количеству писем, приходящих ко мне, я являюсь бесспорным чемпионом не только во взводе, но и в роте, и, возможно, во всем батальоне. Письма идут из Угор от мамы и Мирры, из Ленинграда от папы и Лили, от ребят и воспитателей детского дома.

Каждый раз, когда появляется писарь с пачкой заветных треугольников, проштемпелеванных военной цензурой, я бросаюсь к нему навстречу и никогда не обманываюсь.

Писарь, держа в руке пачку, деловито выкрикивает:

— Молодчий — письмо, Ринка — письмо, Замм — письмо, остальные Разумовскому.

Я жадно разворачиваю треугольники, и мой нынешний мир перестает существовать. Я погружаюсь в иной мир, родной, теплый, любящий, любимый, кажущийся отсюда каким-то ирреальным и сказочным.

Письма я держу всегда при себе. Плотно сложенные в пачках, они уже выпирают из карманов гимнастерки, и у меня проблема, где их хранить, Забегая вперед, могу сказать, что сохранил бы их как самое дорогое на всю жизнь, однако судьба распорядилась иначе, и мое самое дорогое пропало где-то в карельских болотах внутри окровавленного вещевого мешка.

— И шо воны тоби пышуть та пышуть? — раздается из-за плеча, и я вижу насмешливое и одновременно недоумевающее лицо Жигалки. — Шо им робыты нэмае чого?

Канаш — Вышний Волочёк

Поезд катит нас в летние лагеря.

Ходят слухи, что в Вышний Волочек — поближе к фронту.

В нашем вагоне неожиданное прибавление: вместе с Барсуковым на нарах сидит белобрысая молодая женщина с большим животом. Он неуклюже заботится о ней. Шех тоже проявляет к ней внимание, крутится рядом, устанавливает чемоданы, приносит пить. На остановке он убегает с запиской Барсукова в хвост эшелона, где разместилась кухня, и приносит оттуда персональный котелок. Барсуков открывает крышку, и мы все, как по команде, поворачиваем носы — по вагону разносится неописуемый аромат тушеной картошки с мясом.

Первым в котелок залезает Барсуков, потом к нему присоединяется женщина. Насытившись, они передают котелок Филиппову, после Филиппова котелок переходит к Смирнову — ротному писарю, и уже после него доскребывает остатки со стенок Шех — «лучший боец». По субординации, стало быть, эта женщина ниже Барсукова, но выше помкомвзвода Филиппова…

— Кто это с лейтенантом, — спрашиваю я у Шеха, — жена?

— Жена? Баба она его, а не жена… ППЖ… Походно-полевая жена.

— А куда она едет?

— К родне везет. На кой ему беременная баба? Что — баб мало?

В раскрытые двери вагона ярко светит солнце. Бегут мимо бурые поля со светлыми пятнами свежей зелени, пахнущий почками ветерок врывается в вагон. Сегодня двадцать третье апреля, через семь дней мне стукнет восемнадцать.

Все-таки насколько лучше жить весной!

Стоишь в одной гимнастерке, вдыхаешь аромат тополей, покрывшихся зеленым пухом, и так становится хорошо, легко, чем-то родным, забытым веет из открытых дверей вагона.

В довершение моего радостного настроения я слышу голос Барсукова, назначающий наряд на кухню, — моя фамилия произносится первой. Старший по наряду — он сам.

Ура! Быстро собираемся и на первой же остановке бежим в хвост эшелона.

Вагон-кухня довольно чист, доски пола выскоблены почти добела, стенки окрашены белой краской. Одну треть вагона занимает плита с трубой, уходящей в прорубленное в крыше отверстие. По стенкам вагона широкие полки-столы, стоят мешки с картошкой, и повариха предлагает нам, не медля, взяться за

дело.

Мы чистим картошку, на остановках бегаем за водой, таскаем тяжелые мешки с крупой.

Барсуков с сержантом приносят из вагона-склада мешок, из которого выкатывают блестящие банки со свиной тушенкой. Повариха пересчитывает их, подписывает накладную и расставляет на столе.

Не могу оторвать от них взгляда. Пятнадцать килограммов банок американской тушенки поблескивают золотом своих круглых латунных боков. Какое богатство!

Поезд замедляет ход. Лязгают буфера. Остановка.

— Коваленко, Разумовский, за сухарями на склад! Быстро! Пока стоим, чтобы обратно! И смотрите, чтобы точно по весу!

Хватаем накладную и мчимся вперед, к паровозу. Не могли уж вагон-склад поставить рядом с кухней! А впрочем, не все ли равно?

Сержант-кладовщик берет накладную, прикалывает ее на гвоздь, торчащий из стенки, небрежно кивает на один из больших мешков. Мы вдвоем поднимаем мешок и тащим его на зеленые товарные весы, но кладовщик, стоявший до этого к нам полуспиной и не соблаговоливший произнести ни слова, вдруг очень прытко отталкивает нас от весов и разражается длинной и злобной тирадой. Из нее следует, что мы молокососы, дерьмо, я вам дам весы! Ишь, дрянь какая, — им вешать надо! Молчать, когда говорит старший по званию!

Мы возражаем. За нами сила — Барсуков. Мы требуем взвесить и грозим позвать лейтенанта.

Кладовщик приходит в ярость. Он кричит и брызгает слюной. Он орет, что весы неисправны, что он нам устроит «губу»…

Толчок — и поезд трогается.

Коваленко пулей выскакивает из вагона, я подаю ему мешок, он принимает его, и мы мчимся по насыпи в хвост навстречу медленно набирающему ход поезду. Быстрей, быстрей! Бежать трудно. Мешок тяжел, и ноги вязнут в песке. Над нами, погромыхивая, проплывают вагоны, колеса начинают крутиться веселее, и мы чувствуем, что все пропало — мы не успеем впрыгнуть в вагон-кухню.

— Стой! — задыхаясь, кричит Коваленко.

Мы останавливаемся в полной растерянности.

Мимо нас проплывает очередной вагон. Дверь теплушки раскрыта, и оттуда торчат чьи-то головы.

— Давай сюда!

Хватаем мешок и снова бежим рядом с колесами, но уже по ходу поезда. Нас замечают из дверей, нам что-то кричат,

протягивают руки.

Когда черный проем догоняет нас, мы дружно вскидываем проклятый мешок, несколько рук подхватывают его и затаскивают внутрь. Последним усилием мы цепляемся за перекладину и уже на полном ходу вскакиваем в вагон.

Нас встречает многоголосый рев. Десятки лиц свешиваются с нар. Избавившись от одной опасности, мы оказываемся перед другой, может быть, худшей: пять или шесть человек, втащившие нас с мешком, копошатся над ним, вспарывают холст и погружают руки в сухари!

Мы бросаемся вперед.

Я с ходу отталкиваю одного парня, Коваленко наотмашь бьет по морде другого; врезавшись в гущу тел, мы расталкиваем, что-то истошно орем, я падаю на распоротый мешок животом, а Коваленко сверху отбивается от целой кучи нападающих…

— Сухари! Хватай сухари! Тяните их, хлопцы!

— Они еще и дерутся!

— Дайте им в морду!

Мы вдвоем против целого вагона.

Мне попадает два раза по затылку, но я лежу, вцепившись, как клещ, и своим телом закрываю широкую прореху. Кто-то тянет меня за ноги, я лягаюсь и попадаю во что-то мягкое. Коваленко сверху что-то кричит, я чувствую, что меня перестают давить.

— Для комбата, для комбата сухари! Вы что, хлопцы, ума решились? — кричит Коваленко. Лицо у него все в пятнах, ворот разорван, — видно, ему там, наверху, больше досталось.

— Это комбат нас послал! — подтверждаю я. — Вот мы сейчас позовем его сюда — давай, бери сухари, наваливайся!

Слово «комбат» действует. Наши противники стоят вокруг, ругаются, но нас не трогают. Весь остальной вагон с интересом смотрит за происходящим и подуськивает своих. Мы переругиваемся еще несколько минут, и поезд снова останавливается.

Ни секунды терять нельзя. Коваленко быстро хватает полегчавший мешок и выбрасывает его на насыпь, я прикрываю его с тыла, расталкиваю сгрудившихся у дверей солдат, мы получаем напоследок еще две-три оплеухи и выскакиваем на насыпь. Вслед нам несутся крики и свист.

Теперь срочно — собрать рассыпавшиеся сухари — и ходу на кухню. Сейчас расскажем Барсукову — уж он им покажет. Не знают они, гады, нашего лейтенанта! Не знают, с кем связались!

Взбудораженные и злые, влетаем мы на кухню и, перебивая друг друга, рассказываем Барсукову о происшедшем, просим его

пойти с нами в тот вагон и учинить расправу.

Но происходит странное. Лейтенант как-то вяло, не «по-барсуковски» реагирует на наш рассказ, почти не отвечает нам, а продолжает разговор с наседающей на него поварихой.

Разгоряченные боем и бегом с мешком, мы сначала не улавливаем, что здесь происходит, но потом постепенно примолкаем, и я широко раскрываю глаза и уши.

На полке-столе стоят раскрытые банки с тушенкой. Барсуков стоит с консервным ножом в руке, переминается с ноги на ногу и как-то странно оправдывается перед поварихой:

— Не знаю… не видел… наверное, столько здесь и было… да куда ж ей деться?

— Куда деться? — орет повариха, вся красная от натуги и злости. — А где тушенка с трех банок? В котел забросили? А кто разрешил вам производить закладку? А пустые банки где? Сейчас акт составим, комбата вызову! Ворье проклятое!

— Пустые выбросили, — тихо говорит Барсуков, — зачем пустые банки держать… а вообще, я не знаю… сержант, ты не видел, где банки?

Смотрю, слушаю и не могу поверить. Как? Неужели и Барсуков? Поборник справедливости, яростный враг воровства — Барсуков! Не может быть!

Но по тому, как суетится наш славный командир взвода, как он прячет глаза, как невразумительно и невпопад отвечает на яростные наскоки поварихи, мне все становится ясно…

Стучат колеса, весенний ветер гуляет по вагону, солнце прожекторными лучами врывается сквозь щели.

Стучат колеса: в Во-ло-чёк. В Во-ло-чёк. В Во-ло-чёк…

Летний лагерь

На этот раз проворовался Скрипниченко. Пару дней тому назад его командировали на склад помогать. Сегодня он снова появился во взводе, тихий, со своими прячущимися по углам глазами.

— Ну и дурак! — приветствовал его Филиппов. — Вот, говорят, пусти козла в огород! Ну что тебе там не сиделось? Сала — от пуза, хлеба — ешь не хочу, так нет, понадобилась тебе эта банка!

— Нэ брав я той банкы, — тихо говорит Скрипниченко.

— Врешь, падло! По глазам вижу, врешь, тую банку еще найдем — на «губу» пойдешь!

— От мэни бы туда, на склад! — мечтательно тянет Жигалка.

— Да уж, ты бы там прижился! Колом бы не выгнать.

— А скильки сала у той банкы?

— Та два кило. Амерыканське сало.

— Ого! Вот это дал! Жирно исты будэ Скрипниченко!

— Нэ брав я той банкы, — тихо и безнадежно повторяет Скрипниченко.

Мы кончали ставить палатки. На свежие, пахнущие смолой срубы уже были натянуты серые брезентовые верхи, внутри палаток слышался веселый перестук молотков, солдаты заканчивали нары. Желтая стружка окружала палатки и золотистыми кудрями устилала мох.

Лагерный городок был почти закончен. Ряды палаток встали у края леса, дорожки, проложенные между ними, темнели умятой землей, а дерн, вырезанный из почвы, окаймлял их зеленой полосой. Армейский порядок нарушил мягкую красоту лесной анархии, прободоздил квадратами зеленую траву, поставил в шеренги серые купола палаток, держащие строй по натянутой бечевке, строго в затылок друг другу ушли в глубину леса палатки других рот. Принцип построения прост: первый ряд у дороги — первая рота, в затылок ей вторая, дальше третья и последней наша, четвертая. Рота делится на взводы, разделенные между собой дорогами вглубь. Взвод состоит из отделений — каждое в своей палатке. Палатки отстоят друг от друга на три метра. Взводы на шесть. Порядок, армейский идеал.

Некоторые палатки уже готовы, и около них наводят красоту: солдаты метут дорожки, вырезают дерн саперными лопатками и обрамляют ими ходы. У первого ряда я замечаю пожилого солдата, который, стоя на коленях, что-то делает у своей палатки. Куча разноцветных стекол блестит на солнце яркой

неестественной горкой драгоценностей. Солдат выбирает из кучи стёкла и выкладывает ими у палатки ордена.

Это идея! Я отпрашиваюсь у Филиппова в лес, где еще вчера приметил большие кучи битого разноцветного стекла. Откуда оно там? Может быть, свалка какого-то стекольного завода? Набив полную гимнастерку стекол, я возвращаюсь к палатке. Ссыпаю стекла, разравниваю землю у входа и начинаю творить. Что нарисовать? Красивое и нужное? Ленина, конечно. Откуда же его срисовать? А комсомольский билет на что? Черными блестящими стеклами выкладываю портрет Ленина, подбирая куски, как мозаику, заполняя мелкие отверстия. Кусок к куску, стекло к стеклу появляется черный силуэт Ленина на серой земле. Похож? Похож.

А вот фон ему — голубые матовые стекла. Удачное сочетание! А как издали? Здорово!

Быстро выкладываю фон. Что же сделать с другой стороны входа в палатку? Сталина, конечно. Я бегу в штаб батальона, выпрашиваю печатный бланк ротной стенгазеты и бегом возвращаюсь к палатке. Со знамени срисовываю силуэт головы Сталина и начинаю выкладывать черными стеклами.

Кто-то встает за моей спиной. Оглядываюсь. Подполковник Галат, командир нашего полка, стоит и, не отрываясь, смотрит на мою работу. Я вытягиваюсь.

— Вольно. Продолжайте.

Опускаюсь на корточки и заканчиваю силуэт. Подобрав одинакового размера голубые стекла, я обхожу ими по контуру портрета, аккуратно вдавливая в землю. Теперь фон пойдет быстро.

— Оставьте так, — это Галат.

— Нет. Нельзя.

— Почему?

— Должно быть симметрично. Как Ленин, так и Сталин.

— Художник?

— Нет. Так, немного рисую.

— Значит, будете. Хорошо делаете.

Галат поворачивается и уходит. Филиппов выскакивает из палатки.

— Ты что? С самим Галатом говорил?

— Да.

— А чего он?

— Смотрел, что я сделал.

— Ух ты! — замечает мою работу Филиппов. — Вот это да! Да ты здорово можешь! Похвалил подполковник?

— Похвалил.

— А чего он сказал?

— Сказал, фон делать не надо.

— А ты чего?

— А я сказал: нельзя.

— Почему?

— Потому что нельзя, и все.

— Дак… — Филиппов замолкает на полуслове и несколько секунд очумело смотрит на меня, как будто первый раз видит. Потом, опомнившись, открывает парусиновый вход в палатку и кричит:

— А ну, вылетай, смотри, что Разумовский натворил!

За моей спиной толпа. Ну до чего ж необычны похвалы!

После обеда я заканчиваю. Голубой фон внизу обрамляется Кремлевской стеной и башней со звездой. Теперь все.

К нашей палатке ходит весь батальон. Солдат, выкладывавший ордена, побежден, я в фаворе, обо мне говорят, за ужином сам Филиппов выдает мне вторую порцию каши. До чего дошло!

Последняя медкомиссия

Члены отборочной комиссии сидят за столом на открытом воздухе, в тени высоких деревьев.

Сколько их было, этих медкомиссий! Но эта — особая, последняя, — она отбирает на фронт.

Мы стоим в очереди, обнаженные до пояса, и ждем, когда нас вызовут.

Члены комиссии осматривают каждого из вызванных, задают стандартные вопросы и разделяют — здоровых направо, с жалобами налево, для дополнительного осмотра или на ВВК.

Пошел наш взвод. Десять шагов вперед, приседание, два поворота.

— Кулик! Десять шагов вперед. Приседание. Жалобы есть? Следующий!

Сзади знакомый гнусавый голос:

— Вот сейчас Разумовский налево пойдет… Вот увидите. На фронт не поедет… вот увидите…

Как он мне надоел!

— Следующий!

Снимаю очки, прячу в карман.

— Фамилия!

Отвечаю.

— Кру-гом! Нале-во! Напра-во! Присесть! Жалобы есть?

— Нет.

— Направо. Следующий!

Отхожу направо. В строй. Надеваю очки.

Все. Еду на фронт.

Ну что, Жаров, выкусил?

На фронт

Ну вот и свершилось!

Мы уже не запасники — мы уже маршевая рота!

Это ощущение наглядно и осязаемо в новых гимнастерках, крепких блестящих ботинках, скрипящих ремнях, в шуршащем ворсе новеньких шинелей и сказочно чистом, прямо со склада, новом белье. Оглядывая наш неузнаваемый строй, Филиппов добродушно ухмыльнулся и изрек:

— Ну, фронтовики! Вас прямо хоть на парад!

— Тэбэ бы на той парад! — тихо проворчал стоящий за мной Жигалка…

Неясно вспоминается мне посадка в эшелон, увозивший нас на фронт.

Помню только суматоху последних минут, разбивку по вагонам, последние выкрики наших командиров, с которыми мы провели эти шесть долгих месяцев, топот ног, мелькание серых шинелей, суматошное распределение по двухэтажным нарам вагона.

Поезд еще стоит на путях. Слышны паровозные гудки, свистки, грохот пронесшегося локомотива… Наш вагон волнуется и гудит.

— Где же портянки? Почему не дали? К маршевому обмундированию положены новые портянки!

— Ткаченко сказал, что потом раздаст.

— Та дэ ж то потом — уже идэмо на фронт!

— Вин казав, нэдополучэны…

— Брэшет, гад!

— Получил, наверное, и пропил!

— Даешь портянки!

Крики из нашего вагона разносятся по всей станции. Через двери вагона смотрю последний раз на стоящих на насыпи Барсукова, Борисова и Филиппова. Спиной к нам стоит Ткаченко и что-то им говорит. Куда-то побежал Канищев. Какой-то офицер подходит к нашим. Те вытягиваются и делают под козырек — начальство, наверное. Красно и, как всегда, бессмысленно лицо Борисова. Подтянут и строен наш лейтенант. Фуражка Филиппова лихо сдвинута на затылок.

Гудок паровоза. Сейчас поедем.

Человек десять стоят в открытых дверях вагона и хором скандируют:

— Да-ешь пор-тянки! Да-ешь пор-тянки!

Ишь, осмелели… Фронтовики…

Среди начальства движение. Прибегает Канищев с каким-то свертком в руках и сует его Ткаченко.

Свисток. Гудок паровоза, и нас резко дергает. Тронулись.

Ткаченко бежит! С портянками!

Погромыхивая, эшелон начинает набирать скорость. В открытые двери вагона летит сверток материи. Его ловят, что-то кричат и свистят вслед Ткаченко.

Едем. Стучим. Громыхаем. Трясемся.

Как все это знакомо и в то же время совсем по-другому — мы едем на фронт!

Посреди вагона раскидывают белую материю, размеряют ее и начинают резать на куски. А что ж так мало? Где ж тут на шестьдесят человек? Тут и на двадцать-то не наберешь! А тонкая-то какая!

Руководит мерильщиками Паршенков, он в нашем вагоне, и я впервые с большим интересом рассматриваю легенду нашей роты. Хриплый громкий бас Паршенкова покрывает все остальные голоса, он командует, бранится и громогласно объявляет, что нас надули, суки, обокрали и что недодали еще три таких свертка.

Что бы я ни думал о Паршенкове, но сейчас он прав. Я сам видел, как сверток влетел в вагон, и никто, конечно, не успел ни отрезать ничего, ни спрятать. Все, что было, — налицо.

— И что это за портянки? — спрашивает Паршенков, держа в руках тонкий белый кусок и демонстрируя его нам. — Утиральник, да и все…

— Хлопцы! — вдруг соскакивает с нар Жаров. — А ну, кажить мэни! — Он берет из рук Паршенкова материю, разглядывает ее и вдруг кричит: — Так то ж и есть утиральник! То ж я все понял! Я вспомнил! Нам к обмундированию маршевому положены новые носовые платки… Вот они их на ходу и кинулы, а портянки наши…

Стук колес заглушается общим воплем негодования.

Ну и Ткаченко! Воспользовавшись нашим неведением (один всезнающий Жаров вспомнил про новые платки, да и то поздно), он дождался последней минуты и на глазах батальонного начальства на ходу кинул в двери теплушки сверток, оказавшийся полотном для носовых платков, а портянки из белой фланели на целую роту остались у него в каптерке! И, наверное, завтра же пойдут на рынок…

Значит, воевать будем в старых портянках…

Ткаченко достается все, чем богаты русский и украинский языки, и в то же время среди проклятий явственно проступает нотка восхищения:

— Ну и старшина!

— Силен! Ничóго не скажешь! Ведь как сумел, подлюка!

Да, действительно силен. Ну что против него какой-нибудь Жижири или даже Жаров? Щенки, да и только!

Паршенков залезает на верхние нары, и вокруг него сразу же образуется центр вагона. Жаров, умильно заглядывая ему в глаза, заискивает и тянет своим гнусавым голосом:

— Это ты, Миша (уже шестерит, гнида!), первый заметил, что утиральники, а не портянки… Я только вспомнил…

Паршенков густо похохатывает. Любит, когда перед ним лебезят.

— А помнишь, Миша, — продолжает Жаров, — друг у тебя был в распреде, так то друг был! Ой, какой друг…

Жаров полузакрывает свои маленькие глазки и покачивается от умиления перед бывшим Мишиным другом.

Кто-то из кружка Паршенкова вспоминает мраморное пресс-папье и изображает перепуганного Борисова.

Паршенков хрипло хрюкает — смеется. Приятно вспомнить. И сейчас же рассказывается еще один случай, когда Паршенков бритвой разрезал четыре мешка у вахлаков: и сам поел, и нам досталось, и гроши были…

Воспоминания в полном разгаре. Все раскрылись, разоткровенничались. Ведь на фронт же едем — погибать, пропади оно все!..

— А я при нимцях в полиции служив, — неожиданно заявляет один из парней второго взвода.

— Та шо ж тут таке? Та и я тож полицай… Абы гроши да харчи…

Вот так так! Вспоминаю Филиппова — вот оно как…

— А нас нимци вагон с водкой один раз разгружать поставилы. Так мы грузилы, грузилы, а сами ящика три пид насыпь пустилы…

Внимательно прислушиваюсь. Оказывается, не одни полицаи в вагоне, а есть и настоящие ребята… вредили немцам…

— А потом тую водку ввечери зибралы да три дни пилы, остальное продалы на базари…

— У нас на гражданке кодла была, — берет слово Паршенков, и все почтительно замолкают. — И у них кодла — человек двадцать. Встретились на реке. Они, суки, против меня атамана своего выслали. Наши стоят, и они стоят. А мы с этим хмырем сходимся.

В вагоне тишина. Перестали жевать, перестали двигаться. Слушают. Говорит Паршенков.

— Он думал — я биться буду. А я не стал. К нему подошел, за кончик носа его взял и бритвой опасной тот кончик отрезал. И

тому хмырю той кончик в морду бросил…

Общий крик восхищения, и опять тишина.

— Он охренел, кровью залился и назад. И кодла их подорвала… А ты, сволочь, падло, гад, — внезапно взрывается он, — помнишь, как капнул про меня лейтенанту?

В одну секунду он сбрасывает поперечную доску, установленную между нарами. Какой-то парень из второго взвода, притулившийся на ней, вместе с доской летит на головы сидящих внизу. Там он вскакивает и, держась за голову, — видно, ударился, — убегает в глубь вагона, подальше.

Паршенков, так же быстро, как пришел в неистовство, успокаивается и вдруг замечает меня.

— А этот — ваш Разумовский как он, не капал? — говорит он, обращаясь к Жарову, а разбойничьи глаза сверлят меня.

Я весь напрягаюсь.

— Да нет, про него ничего худого не скажешь, — неожиданно заявляет Жаров. — А помнишь, Миша…

Пронесло. Спасибо Жарову. Не ожидал.

Укладываюсь на досках.

Стучит вагон, гремит вагон: на фронт, на фронт, на фронт…

Часть II ФРОНТ

Прифронтовой лес

Зеленые шалаши из хвои — наши теперешние дома. Сделаны они добротно и удобно. На полу каждого из них слева и справа — места для спанья, отгороженные стволами молодых сосенок и выстланные зеленым лапником.

Чисто, нарядно, зелено, и хорошо пахнет хвоей.

Стоят теплые летние дни, в лесу поют птицы.

Недалеко от нас большое, заросшее камышом озеро. Здесь много озер. Карелия — лесной, болотный и озерный край.

С самого начала — ЧП. Еще вчера, расположившись на указанном нам месте, мы с вечера услышали на озере взрывы. Все повскакали с мест, схватили автоматы, однако остановились по командирскому окрику: «Отставить! Вольно!»

Наш новый комроты, стоя спиной к озеру и затягиваясь трофейной папиросой, медленно выпустил дым и спросил насмешливо:

— Чего? Испугались? Не дрейфь! Братья-славяне гранатами рыбу глушат.

Побежали посмотреть. На берегу толпа солдат. На траве ведро с крупной рыбой. В озере, метрах в пяти от берега, двое голых вытаскивают всплывшую белыми животами вверх рыбу и бросают ее на берег.

Меня удивило равнодушие офицеров. Что нам, гранаты для рыбы дали? Странно. Но это, наверное, не единственная странность здесь.

А сегодня утром мимо нас пронесли носилки с ранеными… Что? Где? Почему?

Незнакомый рыжий и конопатый солдатик охотно делится с нами новостями:

— Энто, вишь ты, дурак нашелся рыбу глушить — вместо РГД противотанковую бросил. А она от удара в воду и рванула сверху. А разлет осколков у ей — сорок метров. Энтих, значит, в санбат, а троих закопали. И его самого тоже.

С первых же свободных минут мы бросаемся точить свои лопатки. Железо скребет, скрежещет, звенит о камень. Мы доводим лезвия до блеска, до остроты ножа. Без всякого приказа, без разъяснений нам всем ясно — чем острее лопатка, тем больше шанс выжить.

Постепенно узнаем наше новое начальство. Командир взвода — младший лейтенант Алексеенко — производит странное впечатление. Пожилой, мешковатый, без военной выправки. Говорит тихим голосом. К бойцам обращается на «вы», Командует

— как просит.

Как с таким воевать?

Другое дело командир роты — старший лейтенат Кунатов. Он тоже немолод, но на правой стороне груди у него ордена, а на левой — нашивки: четыре ранения! Две желтые ленточки — тяжелые ранения, две красные — легкие.

Вот это человек! Бывалый. Опытный. С таким не пропадешь!

Все они разные — наши новые фронтовые командиры, но одно общее резко отличает их от тыловых офицеров — манера обращения с бойцами. Они не собачатся, не «ставят себя», не придираются по пустякам. Напротив: налицо какой-то запанибратский тон, легкое развинчивание гаек, суетливая забота о наших нуждах. На этом мнении сходятся все.

Помощник командира батальона гвардии старший лейтенант Шагаев, высоченный и лихой мужик, проводит с нами занятия по изучению ручного пулемета Дегтярева. Вот Шагаев умеет командовать — голосина на весь лес! Щегольская светло-коричневая пилотка заломлена набок и чуть держится на ухе.

Он сидит в центре, а мы сгрудились вокруг него плотным кружком.

— Кто у вас может оформить входы у шалашей? — вдруг спрашивает он, держа в руках пулемет. — Художник есть?

Несколько пальцев показывают на меня.

— Это хорошо. Значит, оформишь?

— Не знаю… Чем делать-то?

— А чем раньше делал?

— Там, в Волочке, стекла были. Цветные.

Кто-то рассказывает Шагаеву, как были оформлены палатки в Вышнем Волочке и что даже сам товарищ полковник хвалил меня.

— Ну так давай! — нетерпеливо говорит Шагаев. — Думай! Стекол здесь нет. Может, шишками?

— Шишками некрасиво будет.

— Ну, думай, думай. Надо, чтобы красота была. Как в сказке. Чтоб боец в свой шалаш, как в храм, входил.

Я машинально ворчу в руках найденную в лесу блестящую гильзу, показываю ее Шагаеву и предположительно говорю:

— Может быть, этим? Надо насобирать в лесу…

— Во! Молодец! — радуется Шагаев. — А собирать в лесу — пусть серый волк собирает. Сколько тебе надо?

Страшный грохот заставляет нас отшатнуться в стороны. Кто сидел на корточках — падают друг на друга.

Шагаев держит пулемет стволом вверх и хохочет.

— Привыкай! Это фронт, а не у матки на печке.

Груда новеньких блестящих гильз валяется на земле. Шагаев

снимает палец со спуска.

— Ну, хватим тебе? А то ты скажи — можно больше сделать. Сколько надо.

— Не надо, — говорю я. — Жалко патронов. Лучше мы в лесу насобираем.

— Ишь ты, какой хозяйственный, — удивляется Шагаев. — Ну забирай и иди вкалывай. Чтобы к вечеру красота была. Как в сказке.

Набиваю карманы гильзами и ухожу делать красоту. Как в сказке. Пробую выложить ордена — не получается. Делаю звезды с серпом и молотом посредине и выкладываю лозунг: «Смерть немецким захватчикам!» Латунные гильзы плохо видны на желтом песке, все некрасиво и убого.

Зову Шагаева. Он в восторге.

— Вот и молодец! Не горюй, я еще из тебя человека сделаю!

Спасибо. Открывается блестящая перспектива…

Занятия. Мы много стреляем. Наконец-то нас учат делу, ради которого нас призвали в армию и ради которого мы зазря мучились шесть месяцев в запасном полку, где каждый день занимались строевой подготовкой: поворотами налево и направо, топтанием на месте и стоянием по стойке «смирно». За полгода — три стрельбы, а здесь мы стреляем каждый день, и лежа, и стоя, и на ходу по движущейся мишени, всерьез учимся окапываться, а также стрелять из ручного пулемета, который оказывается почти непосильно тяжелым для наших тощих от полугодового недоедания рук.

Кормят нас три раза в день, и довольно плотно, но я никак не могу наесться — мне все мало.

На стрельбах я снова оказываюсь одним из лучших и опять слышу, уже в который раз, что дело в очках. Дни идут быстро. Постепенно я привыкаю к моему новому окружению: белорусским ребятам, грузинам и малорослым рязанским парням Лобастову, Ерохину и Соколову. Рязанские держатся обособленно, кучкой, так же как и могучие грузины-пулеметчики, сразу удивившие своей ловкостью и мастерством обращения с пулеметом «Максим». Их минутная разборка и сборка пулемета и подготовка его к бою вызывают общее восхищение. Я уже начинаю забывать своих украинцев, как однажды, выйдя на лесную опушку, носом к носу сталкиваюсь с Жижири.

Он в новой шинели, офицерская сумка через плечо. Раздобрел и даже добродушно настроен.

— Дыви! Разумовский! Ты где?

— Пехота-матушка.

— Тю! — Он не скрывает своего презрения. — А я вот — связной командира полка! Шо хочу, то роблю. Харч гарний, сала от пуза, хлиба, каши, то уж я нэ считаю. Вот тильки донесения ношу, а так кемарь хоть весь день…

С некоторым изумлением я отмечаю факт: сытый Жижири — это совсем не то, что голодный Жижири! Может быть, в этом все дело? Может быть, поэтому мы бросались друг на друга? Страшно гордый и недоступный, Жижири осчастливливает меня последним кивком и исчезает.

Взвод построили. Перед взводом появился незнакомый офицер — комсорг полка.

— Кто комсомольцы — выйди вперед!

Вышли. Вместе со мной четыре человека.

— Всё?

— Всё.

— Ряды сомкни! Комсомольцы остаются на месте. Остальные поотделенно к крайнему шалашу записываться в комсомол — шагом марш!

После того как все вернулись с новенькими билетами, я не утерпел, спросил у комсорга — как же это? Ведь по уставу в комсомол принимают лучших, самых сознательных…

— В армии другой подход! Понял? Завтра в бой все пойдут комсомольцами! Вот и весь устав! Понял? И отставить вопросы! Понял?

И еще один эпизод. Была объявлена воздушная тревога, и мы палили из всего имеющеюся оружия по немецким самолетам, пролетавшим над лесом. Потом над ветками сосен закружились большие белые бабочки-листовки и попадали вокруг нас.

Я беру листовку в руки. Красной типографской краской напечатано: «Бей жида-политрука, рожа просит кирпича». Потом текст. Какой-то пленный Иванов сообщает, что он работал в тылу на военном заводе, по потом его послали на фронт, а вместо него взяли еврея. Кончалась листовка призывом сдаваться немецкой армии и пропуском со свастикой.

Второй раз в жизни держу в руках фашистскую листовку.

Первый раз это было в Ленинграде в октябре 1941 года. Тогда начались бомбежки, и я помню, как масса белых листков валялась на 1-й Красноармейской, напротив нашей школы. На той листовке была фотография. Бабушка, мать и мальчик лет трех белозубо улыбались с листка. Они сообщали, что сдались победоносной немецкой армии и чувствуют себя прекрасно. Дальше шли поразившие меня святотатственные слова: «Кровавая сталинская власть» и т. д. Было невероятно и нереально держать

такое в руках…

Собираю вокруг себя в кустах все листовки, складываю их в кучку и поджигаю. Маленький костерок весело уничтожает кусочек фашизма.

Из-за кустов слышу голос Шаромова, одного из моих новых товарищей по взводу. Он собрал вокруг себя своих и читает им вслух листовку.

Я слушаю, притаясь.

Листовка прочтена и прячется за пазуху.

— Верно написано, — говорит Шаромов оглядываясь. — Вся война-то из-за явреев… Известное дело.

Первый бой. 21 июня

Нас собирают и объявляют: с марша в бой.

Собственно говоря — это не так уж неожиданно, два дня мы подтягиваемся к лесу, меняем место, ночуем без костров, старшины строго проверяют оружие, нам выдали НЗ, и все же напряженное молчание встречает это сообщение, а сердце начинает вдруг сильнее колотиться. Все как-то сразу меняется и становится значительным: и далекая артиллерийская канонада, и диск ППШ, до отказа набитый патронами, и люди вокруг.

Мы оглядываем друг друга по-особому, со значением: кому-то еще долго и далеко идти, кому-то сегодня придется закончить свой путь.

И происходит нечто совсем уж странное: прежде чем зайти в лес, мы пожимаем друг другу руки…

Грохот раскатывается по лесу, раздается команда «В цепь!», и до сознания как-то медленно и не сразу доходит, что это бьют скорострельные финские автоматы. Вот оно! Началось.

Короткими перебежками вперед. От дерева к дереву. Тело легкое, ноги сами несут. Не отставать. Слушать команду. Делать, как все.

Автомат наготове. Скоро… Сейчас увидим «их». И тогда — упасть и с остервенением нажать спуск. А пока мы движемся вперед, не стреляя, так как кроме деревьев, кустов да папоротника, цепляющегося за ноги, ничего нет. Автоматная стрельба становится ближе, резко и мощно вступает пулемет. Я стараюсь не терять из виду бегущих товарищей справа и слева, лес заслоняет собой остальных, но я чувствую движение веток, слышу хруст под ногами — лес живет.

Залегли. Лежим довольно долго, а перестрелка удаляется куда-то вправо, вглубь, затем снова возобновляется невдалеке. К стрекоту автоматов примешиваются отдаленные взрывы. Гранаты? Или снаряды? Непонятно, чего мы ждем… Чувство реальности теряется, я как бы вижу себя сбоку в каком-то странном театральном действии или сне.

— Встать! Вперед! — командует наш взводный Алексеенко. Пошли. Между деревьями начинает светлеть, земля уходит куда-то вниз, и мы выскакиваем на берег неширокой речушки. На открытом месте люднее.

Несколько человек переходят речку вброд, другие разуваются, третьи уже на том берегу.

Быстро разматываю обмотки. Близкая автоматная очередь. Идущие через речку пригибаются, потом бегут изо всех сил на

берег с открытого места.

— В речку бегом! Одним духом! Ну! — Это Алексеенко. Он уже посредине речки. В правой руке чернеет пистолет, другой он машет нам.

Холодная вода заливает ботинки, ноги скользят по камням на дне. Быстрей. Вот и берег. Залегли. Сердце колотится. Сзади в кустах шум. Оборачиваюсь. Шагаев со смехом задирает юбку медсестре Наде:

— Не промочила задницу?

Силен Шагаев! Нашел время…

Вперед! Выбегаем на лесистый берег. Что это? Прямо передо мной, по-картинному раскинув руки, лежит на спине молодой бритоголовый парень. Наша знакомая маршевая шинель. Зеленые лычки. Погоны, как у меня… И ровная круглая дырка посредине лба… Темная, размером в пятак, с розовыми краями.

Бегом к своим, догонять. Значит, все это реально… Никакого сна. Пять минут назад этот парень, как и я, впервые вступивший в бой, бежал вместе со всеми, как и я, боялся отстать, переходил речку, как и я… Над переносицей, посредине лба возникает ощущение зуда или легкой боли. Я тру лоб, но зуд не проходит.

Лес заполняется высоким воющим звуком, и сразу следует близкий разрыв. Снова вой, и разрывы еще ближе. Мы валимся под деревья, пригибая головы, втискиваясь в мох, а разрывы следуют один за другим, неотвратимо приближаясь к нам. Земля содрогается, летят осколки, с чваканьем врезаясь в стволы, а мы лежим вповалку и трясемся, как в лихорадке, потому что такого еще никто никогда не испытывал.

— Первый взвод! Встать! — Это голос Алексеенко между разрывами.

Он сошел с ума! Куда тут встать! Я крепче всовываю голову между мокрыми, скользящими, жесткими корнями.

— Первый взвод! Кто жить хочет, за мной!

Взрыв. Вой. Свист. Топот ног. Поднимаю голову. Несколько человек очертя голову несутся куда-то вниз, в чащобу, за Алексеенко. Срываюсь за ними, падаю, снова бегу. Куда же он ведет, сумасшедший… Идиот! Прямо на взрывы! Но передо мной бегут, за мной бегут наши солдаты без пилоток с вытаращенными от ужаса глазами, и я мчусь вместе со всеми — будь что будет!.. И разрывы остаются сзади и в стороне. Мы бежим еще очертя голову несколько минут, и Алексеенко останавливает нас на какой-то просеке, собирает, подсчитывает.

К моему великому удивлению, почти весь взвод цел, не хватает четырех человек.

— Ну, будете слушаться меня? — спрашивает Алексеенко

своим тихим будничным голосом, но сейчас мы все уже смотрим на него другими глазами, до нас дошло, что он сделал.

— Запомните (ну до чего же он говорит не по-военному!) раз и навсегда: лучший способ выйти из-под минного налета — бежать в сторону выстрелов.

— А где же минометы? Где финны? — спрашивает кто-то из бойцов.

— Смылись! — беспечно роняет Алексеенко. — Услышали, что к ним бегут, миномет на плечи — и ходу! И вообще у них тактика такая — пострелял, и ходу. Умная тактика, — вдруг очень серьезно добавляет он. Финны — вояки! А сейчас — за мной!

Мы выходим на лесную дорогу. Там встречаемся с нашей ротой и не узнаем ее. Второй взвод поредел наполовину, в третьем тоже не хватает многих, только наш взвод потерял четверых ранеными, остальные все на месте.

Ну, Алексеенко — бог!

Подтягиваются на дорогу войска. Проходит гвардейская часть в касках, проезжают машины, тягачи везут орудия, сытые огромные кони легко катят семидесятипятимиллиметровки. На сердце становится легче — вон наших сколько!

Но что-то не дает мне покоя. Был первый бой. Разве это был бой? Мы зашли в лес, нас постреляли там, выбили чуть не треть роты, потом мы куда-то неслись сломя голову, потом вышли на дорогу и идем дальше. Мы не видели ни одного финна. Я не сделал ни одного выстрела. Спрашиваю у других — то же самое. Странно. И все же мы наступаем и, как говорят, выходим на новый рубеж.

Вдали узкой полосой серебрится Свирь. Нас обгоняют танки. Мы выходим на высокий берег Свири, и нам становится видна широкая панорама. Слева горит мост через реку, а справа саперы уже наводят новый, понтонный. На берегу множество людей, в разных местах дымятся костры, солдаты сгрудились кучками, варят, переодеваются, где-то нашли бумажные мешки с финскими галетами, и все вокруг хрустят серыми сухими солоноватыми плитками.

Привал. Отдых. Встает солнце, и до меня доходит, что все, что было, — было ночью. Конец июня — белые ночи…

Подъезжает кухня. Нам дают по полному котелку каши с консервами, несколько трофейных галет и по двести граммов водки! Мы же фронтовики! После еды на берегу устраивают импровизированную баню, и я получаю первую в армии пару белья со всеми пуговицами!

Нет, фронт имеет свои положительные стороны, это точно!

Конец июня… Какое же число сегодня?.. Вчера у командирской палатки говорили — двадцать первое… Значит, сегодня двадцать второе июня — третья годовщина войны.

Финский дом

Еще не прошло нервное напряжение от вчерашнего боя. Мы продолжаем марш по мокрой дороге. Чувство времени утеряно. Стоят белые ночи, и мы засыпаем урывками при тусклом свете, просыпаемся при свете, и нет разграничения между ночью и днем. Бег времени отпечатывается в сознании только короткими привалами да кормежкой.

Вот сейчас у нас был привал в лесу, и я в который раз перематываю пузыри на ногах, натертые обрывками портянок. Мы расположились в кустах, разожгли костер, и сразу полил дождь, обильный летний ливень. Все кругом мокрое, каждая ветка обдает душем, под ногами бегут потоки и заливают костер. Мы жмемся друг к другу. Мокрые шинели темнеют в кустах, все вещмешки, ботинки, обмотки — все почернело, хоть выжимай.

Конец привала. Слышна команда «Выходи на дорогу», и мы тащимся друг за другом по черным скользким тропинкам в море зелени и влаги.

Вот и дорога. Справа внизу видна Свирь. Она легла светящейся серебристой полосой между двух зеленых склонов. Впереди показались дома, первое финское поселение. Дождь прекращается внезапно, выходит солнце, и над колонной встает белый пар. Парят плечи, парят пилотки, шинели, парят мокрые коричневые бумажные мешки, которыми многие укрылись от дождя, — финские трофеи идут в дело.

Обгоняя колонну, скачет вестовой от командира полка. Поравнявшись с командиром роты, выкрикивает приказ и скачет дальше. От головы колонны приказ доходит до нас. Во время боя многие подобрали оброненные гвардейцами каски и надели их на себя. Приказ: «Снять и выбросить каски и бумажные мешки. Не полк, а вороньи пугала!»

Каски со звоном летят в придорожные канавы, надеваются пилотки. Порядок восстановлен.

Вот и деревня. Вернее, хутор. Два больших добротных дома, сараи, пристройки. Метрах в трехстах виднеется еще один дом. Колонна уходит вперед, а нас неожиданно заворачивают на хутор и объявляют привал.

Осматриваюсь. Дома сработаны очень добросовестно. Аккуратный, крытый железом сарай. Большой чистый двор. Около сарая крепкая новая телега. Все здесь — смесь зажиточности, добротности, достатка и… погрома.

Хозяева, видно, в спешке покинули дом, не успев ничего захватить. Вот стоит велосипед около крыльца, на лавке нелепо

голубеет большой эмалированный чайник, дамская соломенная шляпа валяется на ступенях. Разбросаны какие-то книги, бумаги, газеты… А это что?

Поднимаю из грязи большой лист, не веря своим глазам, — Джоконда! Цветная репродукция… Загадочно смотрят знакомые еще с детства глаза, а нос, губы, подбородок пропали под грязным мокрым следом солдатской подошвы… Символ войны?..

Детство… Дворец пионеров… Эрмитаж…

Что я — сошел с ума? Швыряю Джоконду обратно в грязь. Нужно оглядеться — нет ли чего-нибудь пожрать?

Сержант катается на велосипеде по двору, двое солдат с гиканьем поддают голубой чайник, а я бегу в дом. Здесь уже полно народу. Несколько человек шарят по буфету в поисках еды, кто-то со смехом пропарываем штыком полосатую подушку, валяется разбитая посуда, сломанные венские стулья. Автоматически фиксирую намытую белизну пола и черные следы солдатских ботинок на ней. Перегородки в доме сделаны из толстого картона, места стыков листов прикрыты аккуратными белыми реечками.

Мимо меня тащат какие-то сапоги, кто-то напихивает в карманы шерстяные носки, а я вдруг замечаю, что картонная перегородка горит. Машинально снимаю ковш с гвоздя, набираю воды и плещу на картон. Тупо смотрю на то, как огонь продолжает охватывать все большее пространство… Здесь надо тушить всерьез. А зачем тушить? Кому он нужен, этот дом? Живы ли хозяева? И не сгорит ли он потом все равно от шального снаряда? Глупо…

Толкаю дверь и оказываюсь на кухне. Чистенькая плита с бронзовыми ручками. Стол накрыт зеленоватой клеенкой. На столе кофейник, рядом фарфоровая чашка. Над столом стенной белый шкафчик. Открываю его и обнаруживаю сахарницу с сахаром. Пиленый рафинад! Я не видел его уже, наверное, год! Быстро ссыпаю сахар в карман шинели, заглядываю в кофейник. Там кофе. Наливаю себе кофе в чашку, сажусь на табуретку и пью его с сахаром. Странно. Все смешалось, перепуталось на этой войне. Где-то рядом ухают пушки, а я пью кофе в горящем финском доме!

Кухня уже полна дыма. Надо бежать отсюда. Дом разгорается не на шутку. Вскакиваю, оглядываю последний раз кухню и замечаю висящее холщовое полотенце с вышитыми красными петухами. Откуда такое русское полотенце в финском доме?.. Да не все ли равно! Из него выйдут отличные портянки! Срываю полотенце, ногой распахиваю дверь и сквозь дым вылетаю на улицу.

— Эй, ты!

Оборачиваюсь. Пожилой солдат недобро смотрит на меня, опершись подбородком на винтовку.

— Зачем тащишь тряпку? На саван себе?

— У меня портянки худые, — бормочу я и чувствую, как заливаюсь краской.

— У, мародерская морда! — роняет солдат и отворачивается, а я комкаю полотенце в карман и бегу к своим — они уже строятся. Снова мерное топанье ног по высохшей дороге. Мы идем к передовой, и еловые лапы прощаются с нами.

Я — мародерская морда! Да, это верно. Знала бы мама или ребята в детдоме, что я буду воровать полотенца в чужих домах! Зачем я взял это проклятое полотенце, которое жжет мне бок? Неужели воля моя настолько подавлена, что я уже не отличаю плохое от хорошего, врываюсь в дома, топчу посуду, ворую чужие вещи? Что это со мной?

И вдруг обида и горечь переполняют меня. Чего я мучаюсь? Да если бы Ткаченко не обокрал нас в свое время, разве нужно было бы мне это петуховое полотенце? А сколько можно ходить в стершихся носовых платках вместо портянок? Кто виноват в том, что я взял его? Молчи, солдат, имеешь ли ты право судить меня? Я взял это полотенце, потому что на ногах у меня пузыри и мозоли, которые устроил мне Ткаченко, пропив наши портянки в Вышнем Волочке!

С какой-то злобной радостью я на первом же привале разрезаю полотенце на две части и аккуратно, со вкусом, обматываю ноги петухами.

Вот это портянки! Нога аж сама радуется! Ну, теперь пройду хоть всю ночь и еще день.

Вот так! Я не мародерская морда! А вообще-то полотенце все равно бы сгорело…

Я иду дальше. На душе у меня легко.

В лесной чаще

Третьи сутки мотались мы в этом болоте, пахнущем торфом и мокрой травой. Третьи сутки валились мы от усталости между бурых пушистых кочек и просыпались от звука автоматных очередей.

Кухня наша осталась где-то там, далеко на дороге, последний сухарь из неприкосновенного запаса был давно съеден, а солдаты, посланные с бачками за кашей, не вернулись.

Мы были отрезаны и не могли пробиться ни вперед, ни назад. Убийственным автоматным огнем финны преградили нам дорогу среди высоких сосен, чахлых березок и поблескивающих зеркал болотных луж.

Чувство времени потерялось в постоянной выматывающей беготне по этому сырому лесу, в коротких и ожесточенных перестрелках, в хмурых сероватых днях, незаметно переходящих в белые ночи июня.

Мы шатались, находясь на пределе человеческих сил, и поочередно спали по пять-десять минут, подобрав полы насквозь мокрых шинелей и уткнувшись лицом в мягкие и холодные мхи.

Ноги наши были в воде трое суток и ныли от холода, но мы не успевали переобуваться, и сухие портянки зазря пропадали за спиной в вещмешке.

Я проснулся от знакомого дробного грохота.

Где-то впереди, в чаще леса, били финские автоматы, и пули свистели надо мной, со скрежетом впиваясь в темные тела сосен.

Я сполз немного ниже, укрыл голову за расщелившимся черным пеньком, затем осторожно высунул автомат и дал короткую очередь — на звук.

Где-то в стороне, шагах в пятнадцати от меня затрясся, забил другой наш автомат, потом третий и четвертый. Так отбивались мы третьи сутки, не видя противника в гуще леса, стреляя по слуху, а потом меняя место.

Снова оттуда — из темной чащи — полетела грохочущая и свистящая смерть, и снова я прижался к буроватой траве, ощущая щекой ее колкость и холод, и еще раз порадовался, что нашел такую хорошую выбоину за крепким пнем.

Мы притаились и не отвечали больше огнем. Финны тоже перестали стрелять, и в ощутимой тишине и тревоге этих минут я стал ожидать команды отхода.

Проходили минуты, а может быть, и часы. Комары тонко пилили в ушах. Лягушонок прыгнул в лужу, рядом с ногами. Пальцы застыли и заболели на ложе автомата. А команды все не

было.

Тишина стояла над лесом, непрочная и тревожная. Меня начало клонить в сон. Я приподнял голову и переменил положение, согнул затекшие ноги и огляделся. Сосны, березки, кочки, папоротник. Между обнаженными корнями там и здесь проступала вода, рыжая, нечистая. Шагах в пяти, впереди, кусты, за ними сосняк становился гуще, темнее, уходил куда-то вглубь, откуда стреляли. Ветки кустов сверху были обломаны или срезаны пулями, снизу что-то белело. Я чуть-чуть приподнялся. Гнездо? Гнездо. И в нем четыре крупных яйца с крапинами на скорлупе. Четыре яйца, похожих на куриные.

Спазм сжал мне горло, а затем что-то внутри.

В пяти шагах от меня яйца, похожие на куриные!

Сон пропал. Все исчезло и смешалось вокруг, кроме одной всеобъемлющей мысли — достать! Достать во что бы то ни стало и, осторожно разбив скорлупу, выпить чудесное содержимое, слегка присолив из жестяной баночки.

Достать. Но как? Я лежал за пеньком, мучительно вглядывался в заветные кусты и проклинал себя за нерешительность, в то же время отчетливо сознавая, что каждый из пяти шагов к манящим меня яйцам может оказаться последним… Засосало под ложечкой, заныло что-то внутри. Странно, что до этого я не хотел есть. Беготня по болоту настолько измотала, что приглушила чувство голода. Но сейчас он раздирал мне внутренности и яростно боролся со здравым смыслом.

Одинокая автоматная дробь раздалась снова, и опять наступила тишина. Значит, они там. Они не ушли. Вылезать нельзя. Странная мысль пришла мне в голову: шаг вперед — и конец войне.

Я отвернулся от кустов и занялся автоматом, чтобы не смотреть в ту сторону. Перезарядил диск, ровно установил в нем тупые желто-розовые патроны, до блеска начистил канал ствола и удобно улегся между двумя мягкими подушками кочек. Но, справившись со своим солдатским хозяйством, снова и снова возвращался я мыслями туда, в зеленую темноту веток и трав, где заманчиво и опасно белели четыре яйца.

Впрочем, уберегусь ли я от пули, лежа здесь? Так ли безопасно мое укрытие, и не вынужден ли я буду через минуту покинуть его и бешено мчаться вперед, или назад, или в сторону — в гнетущем вое летящих осколков, грохоте минных разрывов, вставать, снова бежать и стрелять, каждую секунду ожидая конца…

Нет, ненадежно мое укрытие, как ненадежно все в этом

странном мире запахов смолы и крови, грохота разрывов и стрекотания кузнечиков, в этом бесконечном лесу без дня и ночи, без времени, без ощущения реальности происходящего, где человеку невозможно предугадать, что с ним будет через секунду…

А раз так, то пусть будет так…

Я осторожно вылез и, прижимаясь к земле, по-пластунски пополз вперед. Тишина стояла в лесу, и каждый звук сломанной мною веточки, ботинок, скребущих по мху, гулко отдавался в ушах.

Я захватил гнездо и, стараясь держать его немного над землей, чтобы не разбить яйца, пополз обратно.

Вот и черный пенек, а вот и умятая ямка между двух кочек — моя крепость, мой дом.

Осторожно разбив скорлупу и присолив содержимое, я выпил все четыре яйца, одно за другим, потом переменил мокрые портянки на сухие и, удобно улегшись в своей мягкой ямке, почувствовал себя почти счастливым.

Почем эскимо?

Нас снова перемешивают, тасуют, пополняют — новыми солдатами взамен выбывших.

Среди вновь прибывших появляется парень с приметной фамилией — Сокол, и жизнь моя, и до этого времени трудная, становится просто невыносимой.

Сокол — балагур, весельчак, взводный Петрушка, немедленно делает меня объектом своих шуточек и издевательств, к общему удовольствию и потехе. От первой прямой стычки он как-то ловко уклонился, а потом я вдруг потерял инициативу и дал захватить ему верх. Моральные силы мои были на исходе, я был растерян, подавлен и сопротивлялся вяло, не так, как следовало бы.

Вот и сейчас, во время короткой стоянки-перекура, Сокол начинает разговор:

— Лева! (Всех он зовет по фамилии, меня только по имени, делая ударение на нем и изображая еврейский акцент.) — А что ты делал до армии?

Кругом поворачиваются, улыбки раззявливают морды. Предстоит потеха.

— Он в магазине торговал! — не дождавшись ответа, объявляет Сокол.

Смех где-то сзади. Я выскребаю из котелка кашу. Молча коплю злобу.

— Лева, ты эскимом торговал? — снова спрашивает Сокол.

— Ха-ха-ха! Эскимом! Вин дуже остроумный, цей Сокол!

— Каже, так каже!

— Лева! Почем эскимо? — спрашивает Сокол.

Взрыв смеха.

Я молча откладываю котелок, беру автомат в руки и выразительно похлопываю по стволу.

Это действует. Сокол отходит, бормоча для приличия, чтобы не подумали, что он трусит:

— Боже мий! Вин мэнэ застрэлить!

Слышна команда, и мы снова топаем вместе.

Плечо к плечу.

Единая и монолитная армия.

Поход

…Подъе-ооом! Подъе-ооом!..

Сознание медленно наполняется этим звуком, тело придавлено к земле черной и мягкой массой, голова лежит в придорожной пыли, темная масса сереет, меркнет… Открываю глаза.

— Подъе-ооом! — раздается совсем рядом. С трудом отрываю голову от земли. Надо идти.

Сумка с пулеметными дисками гнет к земле, автомат висит на шее слитком свинца, все тянет вниз, не дает встать. Упасть, слиться с дорожной пылью, с травой и спать, спать… Надо идти.

Кто-то рядом со мной со стоном встает на четвереньки, потом на оба колена, потом на одно, и вот он уже стоит, покачиваясь. Надо идти!

Механически, как кукла, повторяю его движения, поправляю вещмешок, сумку, надеваю пилотку и делаю первые нетвердые шаги.

…Мы идем уже около суток. Вчера вышли днем, вечером был часовой перерыв на обед, потом снова пошли. Ночь вся в походе. Два часа марша, десять минут отдыха, два часа марша, десять минут отдыха.

Красное зарево на горизонте. Вздутые трупы лошадей у дороги пахнут сладко и отвратительно. Черная масса усталых людей движется, угрюмо опустив головы; каждый видит затылок впереди идущего, хлястик его шинели, мелькающие обмотки и грязные ботинки, равномерно опускающиеся на дорогу.

Скрип ремней, глухой топот множества ног, у кого-то позвякивает котелок. Дорога плывет под ноги, мимо тянется темная полоса леса, усталость наполняет все члены, ноги вышагивают автоматически, глаза слипаются.

Два часа марша, десять минут отдыха.

Время от времени кто-нибудь начинает странно, по-пьяному перебирать ногами и забирать вбок, шатается и наталкивается на идущих. Слышен легкий стук — автомат ударил об автомат, сдержанная ругань, и заснувший на ходу возвращается в строй.

Если бы раньше мне сказали что можно спать на ходу, я бы не поверил, но здесь это случалось со мной уже несколько раз — организм не выдерживает нагрузки, природа берет свое.

Привал!

Наконец-то! Вокруг меня падают фигуры. Мгновение — и уже никто не стоит. Я валюсь вместе со всеми, следя за тем, чтобы не ударить голову об автомат; щека касается шероховатых комков

дороги… Наверное, здесь недавно прошли танки… — последняя мысль, которая приходит в голову, и я проваливаюсь в темноту.

Наверное, странное зрелище представляет собою наша колонна на привале. Мертвый полк, растянувшийся на километры, покрывает дорогу телами солдат, серые фигуры разбросаны по-всякому — кто как упал, в самых невероятных позах. При случае десяток финнов может спокойно перестрелять эту огромную спящую гусеницу, вымученную настолько, что она не сможет оказать сопротивления.

Подъем!

Мы шагаем снова. Десять минут отдыха прошли.

Нас заворачивают в лес. Кажется, конец пути. Да. Слышны крики офицеров, разводящих взводы, приезжает и располагается под деревьями полевая кухня, близка минута отдыха. Тяжелое отупение сменяется надеждой: можно будет поесть и, может быть, пару часов поспать.

— Первое отделение — за мной! — командует Лобастов и выводит нас на большую поляну, покрытую валунами и мхом. Край поляны кончается пышным кустарником, за которым чувствуется спуск к речке. Здесь будет наш сегодняшний дом. Можно сбросить автомат и сумку, затем окопаться и спать. Объявили, что спать можно целых четыре часа! Потом будет обед, еще час отдыха и снова марш.

Надо срочно окопаться, приготовить себе дом — ячейку, похожую на могилу, — крепость и кровать солдата.

Первые же удары лопаткой о землю показывают, что окопаться нельзя. Лопатки скрежещут о камень, под нами сплошные валуны, покрытые тонким слоем земли со мхом. «Ледниковый период»… Эти неожиданно всплывшие слова отбрасывают меня невероятно далеко… к школе, к книгам… Где-то есть Ленинград, где-то есть Угоры… Мама сейчас не спит и ждет Шурку-почтальоншу… Надо дописать письмо, которое я уже третьи сутки ношу за спиной… Я еще жив, мама, я ношу сейчас тяжелые камни, выкладывая из них ячейку, так делают все, ведь здесь нельзя окопаться… здесь сплошные валуны, покрытые тонким слоем земли… Но я жив, и, наверное, это самое главное… Последние камни ложатся на нижний ряд. У меня получилась славная ячейка — она шире спереди и уже сзади, длина ее позволит мне вытянуться и поспать сладко четыре часа, положив рядом автомат и ненавистную сумку с пулеметными дисками. Моя ячейка выстлана снизу мягким зеленоватым мхом, и это хорошо. Я еще жив, хотя и очень устал.

— Встать!

Поднимаю голову.

Надо мной стоит Лобастов — наш новый командир отделения. Он назначен два дня назад, после того как Прохоров был убит. Лобастов маленький, коренастый, глаза у него посажены близко один к другому, и это придает ему сходство с обезьяной. Раньше он ничем не отличался от своих рязанских, после же назначения начал сразу подражать офицерскому тону, прямо копируя интонации командира роты. Я внутренне сопротивляюсь его грубому командному тону, желанию показать свою волю и свое право.

— Чего тебе?

— Встать, когда с тобой разговаривает командир отделения!

Такие штучки необычны здесь даже для офицеров. На фронте офицеры разговаривают с солдатами совсем по-иному, чем в тылу. Солдату дозволяется здесь неизмеримо больше. Общая мысль «все мы под смертью ходим» в какой-то мере стирает грань между командиром и солдатом, никто не настаивает на выполнении уставных тонкостей. Этому в немалой мере способствует то, что в руках у каждого солдата заряженный автомат.

— Ты что, не слышал, мать твою в гроб! Встать, раз я приказываю!

Я медленно поднимаюсь. Автомат я не успел снять, и он висит теперь у меня на шее.

— Я слушаю.

— Ты где сделал ячейку, сволочь?

— Как где? Я не понимаю.

— Не в ряд! Понял? Не в ряд! Посмотри!

Оглядываюсь. Моя ячейка действительно не в ряду всего отделения, она вышла вперед метра на три ближе к краю поляны.

— Ну и что?

— А то, — его глаза останавливаются, он в бешенстве, что я задаю вопросы, он сейчас научит меня подчиняться, — а то, что ты сейчас же переложишь камни и сделаешь ячейку в ряду!

Все замирает во мне на мгновение: мы не на параде — равнять ряды!

Он подскакивает к моей ячейке и ногами разваливает камни. Один большой камень из верхнего ряда падает мне на ногу и причиняет боль.

Что-то более сильное, чем боль и усталость, захлестывает меня, что-то горячее и властное заставляет меня прыгнуть к нему, руки сами наставляют автомат ему в грудь.

— Отойди… — Это не мой голос — какой-то хрип. Время, обстановка, ощущение реальности происходящего — все пропало куда-то в этот миг… Я только вижу его остановившиеся глаза,

белеющее лицо и… руки, тянущиеся к автомату.

Мгновение — и я отвожу затвор назад. Теперь только одно движение — нажать спуск, и клочки гимнастерки запрыгают у него на груди, как у того упавшего рядом со мной солдата.

Мы смотрим друг другу в глаза.

Палец лежит на спусковом крючке.

Мне как-то удивительно легко сейчас; давящая усталость, чувство обиды и затравленность исчезли. В жизни остались только две реальности: глаза передо мной и спуск, ощущаемый пальцем.

Секунда. Вторая. Третья.

Он держит автомат в руках, но у него не отведен затвор. Для того, чтобы меня убить, ему нужно сделать два движения. Мне одно.

Если он отведет затвор — нажму спуск.

Глаза прячутся, руки сползают с автомата, он делает шаг назад и тихо, шепотом говорит:

— Ты что, парень! Ополоумел? Опусти автомат…

Еще шаг назад, еще, и он отходит.

Я стою еще некоторое время в прежней позе, затем медленно спускаюсь в ячейку, аккуратно вынимаю патрон и медленно закрываю затвор.

Усталость вновь наполняет меня, ноги тяжелеют, и я мешком валюсь в свой каменный дом. Надо спать. Все уже спят.

Рядом с камнями трава. Срываю травинку и откусываю кончик. Мама когда-то говорила, что это вредно, будут боли в животе… Почему я не нажал спуск?..

Вредно… какое домашнее слово… Я обещал ей не откусывать кончики травинок… Завтра, наверное, будет трибунал… невыполнение приказа и покушение на жизнь командира… Травинки бывают разные, не все они вредные, а кончики у них такие сладкие…

Если бы он сделал еще одно движение, я бы нажал…

Надо дописать письмо, я уже третьи сутки таскаю его за спиной. Надо успеть дописать письмо…

И снова бой…

Уже третьи сутки мы в бою, а я решительно ничего не понимаю.

Опрокинулись, спутались все мои представления о фронте, о бое. В этом царстве сосен, елей и кустов все мы потеряли ориентировку. Где противник, где наши, куда идти, откуда стреляют, что будет через минуту и что будет завтра — на все это нет ответа. Есть только давящее чувство собственного ничтожества и нервное напряжение, доходящее порой до животного страха: поднял голову — смерть, не поднял головы — жизнь, а иногда и наоборот. В этой игре нет правил. Один Случай управляет здесь всем — удачей и неудачей, жизнью и смертью.

Финские блиндажи поражают меня своей аккуратностью. Землянки ровно облицованы вертикально поставленными стволами молодых сосенок и березок: березка — сосенка, березка — сосенка. Белое — красноватое, белое — красноватое. Просто, красиво и очень неожиданно…

По колено в воде передвигаемся мы гуськом среди тонкого березняка и осинника. Чавкают черные ноги в обмотках, блестит болото внизу, разбегаются мелкие волны от наших шагов, комары тучами вьются над нами, но мы не обращаем внимания на их укусы. Мы идем вперед, на новые позиции, идем медленно и устало, с одержимостью и упорством автоматов.

Гнилое, гиблое место. Уже час мы в воде, а болоту нет конца и края.

Мерно покачивается передо мной спина Ерохина, ствол пулемета задевает за тонкие ветки, чавкают, хлюпают ноги, мокрые брюки облепили бедра, полы шинелей подвернуты и заткнуты за пояса, но тоже намокли.

— Бросай оружие! — звонкий протяжный окрик, и сразу очередь. Крик.

Двое солдат передо мной падают в черную жижу. Я присаживаюсь на корточки. Что это? Автоматные очереди где-то спереди и сбоку. Ничего не понимаю — откуда стреляют? Кто? Срываю автомат и, ощущая нелепость и никчемность этого действия, палю вправо в лес по кустам. Поднимается упавший в воду Ерохин. Он бледен, беспомощно держит в руках пулемет стволом вверх. С рук, с пулемета, с лица стекает коричневая жижа.

— Откуда?

— Не знаю.

— Финны окружили!

— Кто сказал?

— Где лейтенант?

Мы сбиваемся кучкой посреди большой светлой лужи, стоим, пригнувшись, ожидая команды, разъяснения какого-нибудь…

Пальба стихла. Какие-то крики гулко разносятся в глубине леса.

— Вперед! Что встали? Шагом марш!

Снова чавкают черные ноги. Снова качается передо мной ствол пулемета, задевая за ветки, а все тело напряжено, все мысли сосредоточены на одном: из-за каждого куста, из-за каждого дерева может снова прозвучать автоматная очередь.

По цепи передают: финская разведка наскочила на наш батальон. За деревьями не разобрали, что идет большая часть, когда поняли — обстреляли и скрылись в лесу. У нас двое раненых.

Становится суше, и редеет тонкий березняк, уступая место сначала молодым, потом старым соснам.

Нас перестраивают цепью. Тихо в лесу. Команды отдаются вполголоса. Растет напряжение. Мы двигаемся медленно, в цепи, перебегая от дерева к дереву. Алексеенко идет рядом с нами, его сутулая фигура мелькает где-то справа. Вижу рядом с собой человек шесть, остальных скрывают деревья, слева от меня три или четыре темные фигурки перебегают, пригнувшись.

— Стой! — передается по цепи.

Останавливаемся. Впереди широкая просека. На ней перед нами метрах в тридцати — колючая проволока. Четыре ряда. За просекой снова темнеет лес.

Лес молчит, и его молчание тревожно.

Там, за проволокой, — финны. Они ждут, приготовились встретить нас огнем, а нам нужно преодолеть эту просеку и идти дальше. Стоя за большой елью, я вижу, как к темнеющим рядам проволоки подползают фигуры в серых шинелях, и догадываюсь: саперы. Они будут проделывать для нас проходы. Трудно им сейчас!

Батальон стоит в укрытии, а они — несколько человек — первыми вылезают из леса под финские пули. Маленькие, беззащитные.

Мы притаились и ждем, а саперы, лежа на спине, большими ножницами режут проволоку, такие заметные на светлых, покрытых серебристым мхом кочках…

Давящая тишина. Ни одного выстрела оттуда. Саперы кончают свое дело и отползают. Теперь наша очередь.

С трудом отрываюсь от толстого ствола и, ощущая знакомое нытье над переносицей, устремляюсь вместе с другими в узкие

проходы среди колючей проволоки. Мы бежим кучно, толкая друг друга, и я кожей чувствую, что мы — отличная мишень, ничего не стоит нас всех перестрелять сейчас.

Но вот проволока позади. Снова растекаемся цепью и входим в лес, каждую секунду ожидая выстрелов.

Тишина. Кажется, здесь никого нет, только сосны шумят над головой. Валуны, покрытые мхом. Брусничник под ногами. Красные россыпи спелых ягод. Птицы подают голоса.

Слова лес реже — вижу всю цепь, идущую вперед. Я около Ерохина. Он первый номер ручного пулемета, я второй. Ненавистная сумка с пулеметными дисками сейчас не тянет. Слишком велико напряжение ожидания.

Впереди местность повышается, и мы выходим на гребень.

…Звенит барабанная перепонка от грохота близких автоматных очередей, и скорее чутьем, чем слухом, ощущаю я сбитые пулями ветви над головой и падаю стремглав на землю, прижимаясь к ней всем телом, распластавшись между кочками.

Грохот, свист пуль. Краем глаза фиксирую молоденькую елочку метрах в трех от меня — она осыпается и падает, срезанная пулями. Отползаю немного назад, в ложбину. Здесь безопаснее. Оглядываюсь. Кто-то из наших с криком бежит назад. Ерохин бросил пулемет и лежит, закрыв голову руками. Справа начинает работать наш станковый пулемет. Залегшая цепь начинает отвечать. Я тоже даю автоматную очередь вперед, в темноту леса, и вдруг страх покидает меня, уступая место азарту боя. Подползаю к Ерохину и расталкиваю его. Он приподнимает голову, обалдело смотрит на меня своими голубыми глазами, потом хватается за пулемет. Я помогаю поставить диск. Минута — и наш «Дегтярев» дает первую длинную очередь, наполняя сердце радостью и чувством собственной силы. Лупим мы в белый свет, вернее, в полную тьму, но мы стреляем, ведем бой, а не лежим, уткнувшись носами в мох, грохот нашего пулемета заглушает все остальные звуки, поглощает все остальные мысли, кроме одной — мы воюем!

— Вперед! В атаку! Ура!

Вскакиваем и бежим вперед. Пули свистят нам навстречу. Мы падаем, снова вскакиваем, перебегаем от дерева к дереву, грохот боя нарастает, где-то начинают рваться мины. Мы уже сбили цепь и бежим между деревьями втроем или вчетвером, не видя остальных.

Легкий вскрик сзади заставляет меня на мгновение оглянуться. Ерохин лежит, весь устремившись вперед, странно подогнув ноги, руки сжимают пулемет, а на круглой стриженой голове — черно-красная дыра. Текущая кровь пачкает светлый

мох.

Падаю рядом, прижимаясь к земле.

— Вперед!

Бегу вперед, задыхаясь. Сумка с уже бесполезными дисками тяжело бьет по животу. Снова догоняю цепь и занимаю в ней свое место, но солдаты кругом уже другие, все перемешалось в этом хаосе.

— Вперед!

Выскакиваю из-за валуна и нос к носу сталкиваюсь с каким-то незнакомым солдатиком. Он шарахается в сторону, направляет на меня автомат и прыгающими губами на побелевшем лице кричит:

— Финн? Стой! Застрелю!

— Ты что, спятил? Своих не узнаешь?

Его глаза широко раскрыты, весь он трясется от страха и не отводит автомата.

— А почему в очках?

Тьфу, дьявол! Опять очки! Набрав воздуху, разражаюсь четырехэтажным матом с перебором — этому я, слава богу, научился в совершенстве; ругаюсь в душу, в гроб, во всех святых, — только это может сейчас спасти мне жизнь. Мой вопль убеждает солдатика, он отводит автомат — узнал своего, и мы вместе бежим снова вперед. Совсем рядом зловещий рокот автоматов, свист пуль; кубарем падаю головой под корни и сразу оглядываюсь по сторонам, так как сквозь треск очередей слышен истошный крик раненых. Шагах в пяти от меня неподвижно лежит вниз лицом тот солдатик, который пять минут тому назад чуть не застрелил меня. Метра на два дальше — второй. Немного поодаль стонет третий, вот он с усилием поднимается на колени. Короткая очередь. Мне видно, как у него на груди запрыгали клочки шинели; он медленно, без звука заваливается набок. Дальше мне не видно, но слышно, как в глубине леса кто-то надрывно кричит: «Помогите!» Очень медленно поворачиваю голову направо и вижу еще два трупа. В том, что это трупы, нет сомнения. Живые прячутся, эти лежат свободно и широко — им уже ничего не страшно.

Оцениваю положение. Мы, выскочив на бугор, наткнулись на финских автоматчиков или снайперов. Лицом к лицу. Они нас увидели, мы их нет. Обычная история.

Из шести человек, выскочивших на бугор, невредим только я. Пока невредим. Финны рядом, может быть, шагах в двадцати. Надо лежать абсолютно неподвижно, притвориться убитым. Если заметят, что шевелюсь, добьют. В то же время надо неотступно смотреть вперед: если покажутся из-за деревьев — стрелять.

В лесу странная тишина. Стрельбы нет. Только раненый слева

кричит:

— Помогите!

Лежу неподвижно, упираясь подбородком в пахнущий гнилью и смолой корень. Чешется над переносицей. Руки побелели и застыли на автомате, ноги начинают затекать.

Раненый уже не кричит, он плачет. Надо пойти помочь. Но как? Как выползти из-за этого спасительного укрытия? Начну шевелиться — смерть! Вжимаюсь еще глубже между корнями. Нельзя вылезать.

А раненый плачет. Интересно — сколько до него? По звуку — метров двадцать-тридцать. За это расстояние меня могут двадцать-тридцать раз убить. Я буду лежать, как Ерохин или как тот первый убитый с круглой дыркой во лбу. Двигаться нельзя. Надо лежать, как труп, и выжидать — может быть, подойдут наши. А сейчас я даже не знаю, где они. Где-то невдалеке стрельба. Кругом трупы, и стонет, плачет раненый слева.

А может быть, я сумею доползти до первого трупа незамеченным? Медленно поворачиваю голову. Тихо. Попробовать? Нельзя! Тишина обманчива… Ерохин… Дырка во лбу… Стоны из леса…

Медленно-медленно высвобождаю руку, сгибаю ногу и чуть-чуть отползаю назад. Теперь влево. Спокойно. Сантиметр за сантиметром. Не рывками, а равномерно. Прижимаясь к земле. Теперь три движения до того пенька. Голову прикрою автоматом — все-таки металл. Хвоя колет щеку. Натыкаюсь на что-то твердое. Ноги. Ага, я уже около первого трупа. Переползаю через ноги и спускаюсь в ложбинку. Здесь можно ползти быстрее. Миную второй труп. Раненый уже недалеко, его видно за деревьями. Он лежит на правом боку, а левый бок у него черно-красный.

Делаю последние усилия, и вот я уже около него. Сразу вижу, что дело плохо. Левая рука представляет собой какую-то мешанину из костей, обрывков мяса, торчат розовые жилы, тут же путаются куски бинта, которыми он пытался перевязаться. У него широкоскулое лицо, белое, без кровинки, на переносице старый шрам, уродующий лицо, глаза вытаращены от боли и страха. Шинель разорвана и черна от крови, кровь подтекла под него, и он лежит в вишневой луже.

— Держись. Сейчас перевяжу.

Лихорадочно достаю свой индивидуальный пакет. Раскрываю. Как это нас учили? «Индивидуальный пакет состоит из бинта и двух стерильных подушечек, одной подвижной и другой неподвижной», «при ранении навылет нужно наложить неподвижную подушечку на место входа пули, а подвижную, не

касаясь стерильной стороны, подтянуть к месту выхода пули, накрыть ею отверстие, а потом забинтовать…» Как все ладно и логично!

На эти остатки человеческой плоти мой пакетик как слону дробина, со всеми своими подвижными и неподвижными подушечками. Он немедленно весь пропитывается кровью, и я не знаю, что тут перевязывать: разрывная пуля раздробила все плечо в куски.

— Пропал… пропал, — повторяет раненый одно слово, а я, отчаявшись перевязать его, снимаю с себя брючный ремень, с него поясной и ими привязываю кровоточащие остатки руки к телу.

— Ты не волнуйся, — говорю я заведомую чушь, — в госпитале вылечат. Сейчас я тебя назад потащу.

— Нет. Я сам.

— А ты можешь?

— Да.

— Как твоя фамилия? — неизвестно для чего спрашиваю я.

— Гробов.

Внезапно он вскакивает на ноги и бежит назад в лес.

Бежит! Почему же он раньше не бежал? Видно, боялся — добьют. В лесу тихо. Рву мох и вытираю кровь. Все руки в крови, она сладко и душно пахнет.

Осторожно встаю на ноги, оглядываюсь и иду искать своих.

Вятские

Мы наступаем. В ожесточенных схватках, теряя ежедневно множество людей, мы продвигаемся вперед, и до меня начинает доходить хитроумная финская тактика. Они не воюют с нами лоб в лоб, слишком неравны силы, но, прекрасно ориентируясь в лесу, наносят точные, быстрые и очень болезненные удары и так же быстро исчезают, как бы растворяются в лесной чаще.

Так и вчера. Выскочив на лесной гребень, рота напоролась на шквальный встречный огонь и, потеряв множество людей, залегла и окопалась. На помощь к нам подтянулись крупные части и, судя по отдаленному шуму впереди и справа, окружили финские войска и теперь утюжат их минометным огнем.

Часа через два нас снова подняли, и мы двинулись цепью, готовые ответить огнем на выстрелы или снова залечь. Осторожно продвигаясь, мы вышли на следующий гребень и, к моему великому удивлению, обнаружили десяток свежевыкопанных ячеек рядом с которыми валялись кучи отстрелянных гильз. Нашу роту положило и перестреляло отделение финнов! Встретили, ударили и исчезли, как лесные духи…

У нас много убитых. Для меня самая ощутимая, личная, потеря — человек с тихим голосом и мягкими интонациями — младший лейтенант Алексеенко. Вместо него назначен новый командир взвода, растрепанный псих с круглыми сумасшедшими глазами. Он злобно ругается, дерется и поминутно грозит нам пистолетом.

Поредевший состав взвода опять пополняется. На этот раз кировскими ребятами. «Вятские мы», — говорят они о себе.

Меня сразу же удивляет чистопородность вятских — все они как родные братья. Рослые, плотные, с литыми красными лицами, у всех грубые рубленые черты лица, светло-голубые глаза, большие носы, крупные рты, крепкие круглые затылки. Говорят они тоже одинаково, окают, но их оканье другое, нежели знакомое мне, мантуровское.

Наши окружили вятских, знакомятся, делятся табаком и последними фронтовыми новостями.

— А у нас еврей есть! — вдруг выпаливает Сокол.

— Да ну! Который?

— Вон стоит, в очках, — услужливо подсказывает Сокол.

Вятские окружают меня, бесцеремонно разглядывают, некоторые даже протягивают руки, чтобы пощупать.

Я отталкиваю руки и стою, выжидая. Что дальше?

— Ты яврей? — спрашивает один из вятичей.

— А ты што, ня видишь? Известно, яврей! Ён в очках!

— Чаво молчишь? Говори — яврей иль нет?

— Еврей, еврей, — суетится Сокол. — Он мороженым раньше торговал…

Кругом смех. Шутка насчет мороженого имеет неизменный успех.

— Молчит, зараза…

— Ваньк, а ты дай ему по затылку, штоб заговорил…

Резко оборачиваюсь, но меня толкают сзади на передних, а передние с удовольствием толкают назад. Я в кольце. Злоба душит меня.

Ох, сволочье, сволочье!.. Полоснуть бы сейчас вокруг себя из автомата, чтоб попадали вокруг меня эти литые рыла, чтоб закрылись оскаленные смехом рты, чтобы стало чисто и пусто вокруг и… конец войне.

— Взвод, становись!

Весь дрожа, шагаю я снова в строю.

Под пули

Все началось сразу. Среди перестрелки вдруг замолкли финские автоматчики и пошло! Вой — разрыв! Вспыхивает пламя… Вой — разрыв! Грохот, гул, летят щепки от стволов, гудит земля, и опять мы несемся сломя голову вперед, на грохот разрывов… Ветки хлещут по лицам, корни цепляют за ноги, а мы мчимся, падаем, меняем направление, кубарем скатываемся в овраг и там замираем под валунами.

Некоторое время еще грохочет в лесу, потом взрывы отдаляются и затихают.

Нас двое под валуном — солдат из второго взвода и я. Остальные где-то в лесу. Мы осторожно встаем, осматриваем себя, оружие — все в порядке, только шинель он где-то располосовал.

— Пошли наших искать.

— Пошли…

Мы выходим из оврага, пригибаясь и озираясь, автоматы наготове: из каждого куста можно ждать выстрела. Несколько трупов лежат в разных местах. Один лежит, вытянувшись во весь свой огромный рост, лицом в мох, и щегольская светло-коричневая пилотка валяется рядом. Как недавно он обещал «сделать из меня человека»…

Мы минуем кусты и натыкаемся на нескольких наших. Они откапывают окопы. Срезанный мох обнажает желтые песочные раны. Нам указывают направление. Мы спускаемся с песчаной осыпи, минуем маленькую речку и останавливаемся как вкопанные.

На песчаном бережке ручья, под склонившимися ветками прибрежных кустов, лежит Надя, наша санитарка. Она в одной гимнастерке. Ноги ее, странно белые, раскинуты в стороны, а низ живота — сплошное красное пятно. Пожилой санитар неумело бинтует ее, а другой ладит носилки из срубленных жердей. Надя стонет тонко, по-ребячьи, ее глаза, полные муки, останавливаются на мне…

— Ну что уставились! — рычит на нас санитар. — А ну, вали отсюда!

Мы уходим по ручью, а стоны преследуют нас еще долго, и не исчезает из памяти взгляд отчаяния и боли.

— Глянь-ка! — говорит мой спутник. — На кусту сумка!

Я снимаю с сучка офицерскую сумку и вешаю ее на плечо. Найденные сумки, особенно с картами, приказано сдавать в штаб.

Мы плутаем еще полчаса, прежде чем встречаем своих. Они

окапываются. Многих нет. Убиты? Или после обстрела кружат по лесу, как мы?

Нахожу Кунатова. Он сидит между валунами вместе с нашим новым командиром взвода, у обоих злой и взъерошенный вид. Кунатов за что-то отчитывает лейтенанта, а тот огрызается, как собака.

— Товарищ старший лейтенант, мы заблудились после минного обстрела. На обратном пути нашли офицерскую сумку…

— Моя! — вдруг вскакивает командир взвода и вырывает ее у меня из рук. — Вот она! Где взял?

— Нашли вон там под горкой…

— У… мать! — сквозь зубы злобно говорит он. — Ну, собака, погоди…

— Так вы же сами приказали приносить сумки, если найдем…

— Молчать! — Он роется в сумке, перетряхивает ее, что-то ищет.

— Где табак?

— Какой табак?

— Он табак из сумки украл, — говорит комвзвода Кунатову, — у меня тут пачка неначатая была…

— Украл пачку? — раздельно и почему-то тихо спрашивает Кунатов.

Оба они впиваются в меня взглядом, командира взвода прямо трясет от бешенства.

Кунатов же, наоборот, подчеркнуто сдерживает себя.

— Да что вы, — вырывается как-то помимо меня, как будто говорю не я, а кто-то другой, — неужели я… кругом люди умирают… я не вор… не видел я вашей пачки… да я и не курю вообще…

— Марш на место! — хрипит комвзвода. Грязная ругань.

Иду на место и начинаю окапываться. Рядом в своей ячейке лежит Осмачко и курит. В лесу снова начинается автоматная трескотня.

— Ты где был?

— У командира роты.

— Нашел лейтенант сумку?

— Какую сумку?

— Да он оправиться пошел, сумку на куст повесил, и нет сумки! Шум тут был. Командир роты кричит: «Расстреляю! Там карта была…»

Вот оно что! Какая чепуха! Ну, дела! Врага я себе нажил — хуже не придумаешь: психопат, да еще злобный…

— Разумовского к командиру роты!

Бросаю недокопанную ячейку и иду в валуны. Оба сидят там по-прежнему — Кунатов и взводный.

— Слышишь, раненый кричит? — спрашивает Кунатов.

Я прислушиваюсь. Где-то вдалеке, там, где кончается лес и начинается просека, слышны стоны.

— Слышу.

— За раненым — марш!

Смотрю на него. Он понимает, что делает? Раненый лежит на простреливаемом открытом месте… Командир взвода смотрит вбок и улыбается… Да, улыбается… Да, они понимают, что делают.

— Есть идти за раненым!

Делаю шаг в сторону.

— Вернись! Взять автомат!

— Зачем? Мне он только мешать будет!

Кунатов медленно вытягивает из кобуры револьвер. Черная дырка ствола крутится у меня под носом.

— Еще одно слово… Выполняй приказание!

Надеваю автомат и спускаюсь с горы, поросшей сосняком. Идти здесь пока безопасно. У подножия лес обрывается просекой, и где-то посредине ее стонет человек.

Значит, так: ползком до того пня, оттуда до валуна, потом до той канавы, потом… Потом — будет ли потом? Пошли…

Ложусь на живот, перекидываю автомат на спину и ползу, прижимаясь головой ко мху. Открытое место — дрянь дело. Пень. Ползу дальше. Валун. Оглядимся. Тихо вокруг. Пошли дальше… Ниже пригнись. Тише дыши. Глаза смотрят за тобой из леса, ствол нащупывает спину, пальцы нажимают спусковой крючок… Ниже, ниже, ползи быстрее… Кунатов радуется — не вернется, они знали, куда посылали меня, гады… Открытое место — дрянь дело… Больно стукает автомат по спине. Вперед. Вперед. Уже близко. Вот он.

Животом вниз лежит передо мной раненый. Гимнастерку он содрал, красно-белая нижняя рубаха лохмотьями валится со спины, а на спине, ниже лопатки, круглая черная дыра величиной в два пятака. Переваливаю парня на бок и обомлеваю: ранение навылет — выходное отверстие с мой кулак. Весь мох вокруг, брюки парня черные от крови. Он стонет глухо и хрипло. На губах розовые пузыри. Подлезаю под немощное, но тяжелое тело, он вяло обхватывает мою шею рукой, и я волоку его по земле, ввинчиваясь в мох, отталкиваясь ногами от корней, судорожно цепляясь пальцами за твердую землю, а проклятый автомат (проклятый Кунатов!) отяжеляет мне руку и волочится по земле.

Конец просеки. Затаскиваю раненого в кусты, наваливаю на

плечи и несу уже на ногах, тяжко одолевая каждый шаг наверх.

В нескольких шагах от валунов я опускаю раненого на землю и сползаю рядом с ним на колени. Он мертв.

Шатаясь, подхожу к Кунатову. Руки у меня в крови. Гимнастерка вся мокрая. Я стою перед ним и не могу говорить. Кунатов смотрит в сторону мертвеца, потом под ноги и говорит:

— В цепь! Окопаться!

С трудом дотаскиваюсь до ячейки и падаю в нее. Липнет гимнастерка к спине, к шее, к груди.

Надо где-нибудь постираться…

На часах

Полутемная ночь. Грань между белыми и темными ночами. В трех метрах еще видны неясные очертания сосновых лап, дальше все сливается в одно.

Слипаются глаза. С трудом открываю их, а тяжелые веки снова падают вниз. Спать нельзя. Я — часовой. Не где-нибудь в тылу, не в учебной игре, не на маневрах… На передке. На самой что ни на есть линии соприкасания.

Где-то рядом, внизу, не дорыв обязательные ячейки, спит мертвым сном измученная рота.

После утреннего боя мы прошли километров тридцать и к ночи, зайдя в лес, попадали где кто стоял. Много труда стоило командирам заставить солдат кое-как окопаться. Подтащили в баках горячую овсянку, но она вся там и осталась. Почти никто не подполз с котелком, одиноко звякнула где-то ложка, и все… Измученный утренним перетаскиванием раненого и долгим маршем, я упал сразу после команды и тут же отключился. Меня растолкал сам Кунатов.

Ничего не соображая, сажусь в отрытом песке.

— Просыпайся! Встанешь вон там — у большого валуна — часовым.

Постепенно до меня доходит… Значит, опять не спать. Но ведь я же… сплю…

— Встать! — негромко, но уже раздраженно выкрикивает Кунатов. — Иди занимай пост.

Встаю, беру автомат и падаю. Поднимаюсь снова, продираю глаза. В сумраке мне плохо видно Кунатова, но я чувствую, что он зол как черт.

— Куда идти?

Приглушенная ругань.

— К большому валуну, тетеря! Стой!

Его рука ложится на мое плечо, он приближает ко мне голову и тихо говорит:

— И не вздумай спать. Прошлой ночью в этих местах часовой заснул — и финны всю роту вырезали. Без единого выстрела. Понял?

Последние слова пробуждают меня. Так же тихо и серьезно я повторяю приказание и поворачиваюсь, чтобы идти. Оглядываюсь — Кунатов присаживается у елки и тут же валится на бок. Спит.

Валун. Напряженно вглядываюсь в темноту. Автомат в руках, наготове. Чуть что — буду стрелять.

Где-то трещит ветка. Ползут?

Нет, показалось.

Тишина. Сзади слышен приглушенный храп. Счастливые… Спят… А я должен стоять. Почему я?.. Но ведь кто-то же должен… Кто-то же должен…

Проклятые веки закрываются сами, проклятые ноги подкашиваются. Вот если встать на одно колено, будет легче стоять… Нет, это не случайность, что Кунатов послал часовым меня… Не случайность… Но почему я не на одном колене, а на двух, и автомат упирается в мох? Встать! Прошлой ночью часовой заснул, и финны вырезали…

За три метра все равно ничего не видно, хоть изо всех сил пялься. Я не буду спать, только закрою глаза… Нет финнов в этом лесу… Я только на минутку прислонюсь к валуну…

Проклятье — ведь сплю!

Где спишь, идиот? На передке на самом. Вчера ночью финны вырезали целую роту… Без единого выстрела… Кунатов…

Надо что-то придумать. В конце концов, жить-то ведь хочется больше чем, спать. Заснешь — конец. Не от финнов, так от своих.

Я делаю два шага в сторону и нащупываю ствол молоденькой сосны. На уровне лба отламываю липкую упругую ветку и встаю рядом.

Теперь — порядок. Засну — наткнусь на сучок.

Вот ведь как ловко придумал. Теперь и финны мне не страшны, и Кунатов. И за сосенкой меня из леса не видно.

Пусть-ка теперь полезут — тяжелый дырчатый ствол нагрелся от моих рук.

Тишина в лесу, только храп, приглушенный сзади.

Время от времени я больно натыкаюсь лбом на сучок и просыпаюсь.

Через два часа меня меняют, а с рассветом мы уже снова шагаем вперед, в неведомое.

Отдельный костер

Нас отвели во второй эшелон. Уже второй день мы отдыхаем от боев, спим почти вволю. Полевая кухня регулярно, три раза в день, снабжает нас горячим пшенным супом с консервами и овсяной кашей, в которой ложка стоит и не падает. Повар-казах наваливает нам полные котелки, мы едим, привалясь к кочкам, едим со смаком, не торопясь. Огромные порции каши исчезают в желудках, и блаженное состояние сытости переполняет нас.

Где-то вдалеке слышна канонада. Бой идет в каких-нибудь пятнадцати-двадцати километрах, но нас это не касается. Мы упиваемся передышкой, спим, чистим оружие, пишем письма, кто-то чинит прожженную шинель, двое солдат из соседней части пришли поменять сухари на водку… Мирно и тихо в лесу — мы второй эшелон.

Я сижу один у своего костра. Несколько дней тому назад был случай, когда меня прогнали от общего костра, и я уже не делаю попыток подсесть к остальным.

Я уже внутренне смирился с той ролью, на которую меня обрекли. Все мои попытки сблизиться с кем-нибудь разбиваются о тупую стену недоверия и недоброжелательства. Я чувствую, как с каждым днем кольцо отчуждения становится все плотнее.

В школе я был коноводом, мальчишки любили меня за веселый нрав, компанейский характер и за неистощимую озорную изобретательность. В детдоме относились ко мне прекрасно — и взрослые, и дети. В Канаше вокруг меня тоже были люди — не мед. Но там, после шести месяцев совместной жизни, когда меня узнали, ко мне в общем относились с уважением, доверяли, даже давали на сохранение деньги… Шесть месяцев голода, тупой армейский быт, основанный на грубой власти, поощряемый подхалимаж, поголовное воровство и полное отсутствие элементарной справедливости — все это подкосило мои силы. Я молчу целыми днями. Я отупел. Не могу составить ни одной путной фразы, да и кому она нужна? Мир разбился на простые истины: черные и белые. Все интересы элементарны. Они сосредоточены на десятке окружающих вещей: шинель греет — это хорошо. Котелок должен быть полным. Портянки — сухими. Дождь — враг. Саперная лопатка — друг. Она спасает от пуль. Автомат необходим. Сумка с пулеметными дисками — враг. Она гнет меня к земле, бьет по ногам.

Нюансов нет. Мысли тянутся туго. Когда я пришел в армию, я был сильнее физически, а главное — морально. Теперь же в постоянных стычках, крупных или мелких, я замкнулся в себе,

потерял себя… Странное лезет в голову. Раньше, до армии, все казалось ясным: на фронте со мной будут мои боевые товарищи, друзья, готовые друг за друга в огонь и воду, мы будем вместе бить нашего общего врага — проклятых фашистов.

Теперь же те враги врагами и остались — фашисты, гады. Коричневая чума. Ни секунды не сомневаюсь в своем долге — быть здесь, на фронте. В этом единственный смысл моего существования здесь.

Но я живу в атмосфере незаслуженной ненависти, мучительно ищу выхода и не нахожу его…

Костерок мой тухнет. Привычка разжигать костер стала неотъемлемой, и делаю я это ловко — одной спичкой.

Вот сейчас день, солнце, а я все-таки разжег огонек. С ним уютнее. Он мне дорог как что-то свое, живое.

Надо вычистить автомат. Затвор поблескивает на пне. Прочищаю канал ствола и смотрю на свет. Чисто. Сверкает. Складываю аккуратно затвор и вставляю в автомат. Диск заряжается с трудом, но вот уже все три поблескивают тупыми розовыми головками пуль. Готово. Кладу автомат на пень, и в этот момент крупная птица пролетает у меня над головой и, громко хлопая крыльями, садится невдалеке на сосну. Что это за птица? Может быть, куропатка? А что, если ее подстрелить да сварить потом в котелке с солью, — вот это еда!

Впервые в жизни охотничий азарт овладевает мной. Медленно протягиваю руку к автомату, осторожно встаю, крадучись делаю два шага вперед.

Короткая очередь. Падают сбитые пулями ветки. Птица взлетает и исчезает в чаще леса.

Вот растяпа! Промазал. Стрелок фигов! Надо теперь чистить ствол снова!

Наклоняю автомат вниз, отвожу затвор и заглядываю в канал ствола. Он в пороховой гари.

Выстрел!

Боль в ноге…

Я весь цепенею, глядя на круглую дыру в ботинке…

Затвор соскочил и ударил в капсюль, и я чувствую, как начинают мокнуть пальцы в портянке… Отбрасываю автомат, лихорадочно расшнуровываю ботинок. Портянка в крови. Срываю ее и вижу, что пуля прошла в мякоть большого пальца и вышла через подошву в землю. Кость не задета. Кость не задета!

Теперь главное — скрыть.

Оглядываюсь. Никого поблизости. Допрыгиваю на одной ноте до вещмешка, достаю бинт и быстро заматываю палец. Бинт промокает сразу и предательским красным фонарем сигналит на

зеленом мху.

Оглядываюсь. Ко мне идут.

Никогда я еще так быстро не мотал портянок. Ботинок на ноге. Все… Только подлая дырка в ботинке выдает… Если кто-нибудь узнает — трибунал… Батальон, построенный в каре… «За самострел в боевой обстановке приговаривается…»

Наш новый (уже третий) взводный лейтенант Скворцов появляется передо мной. Встаю.

— Кто стрелял?

— Я.

— Почему?

— Проверял, как работает автомат. Раньше заедало затвор.

— А теперь?

— Наладил, товарищ лейтенант! Все в порядке.

— Ну, тогда ладно.

Ушел. Заметил ли дырку в ботинке? Кажется, нет… Нужно срочно поменять ботинок… Еще бы полсантиметра — и в кость… Пробую ходить. Терпимо.

Несколько дней тому назад в соседней роте произошло ЧП. Молоденький солдатик осуществил самострел. Видимо, кто-то из опытных научил: чтобы рука не была опалена гарью, выстрелить себе в левую руку через буханку хлеба. Срочно был созван трибунал. На большой лесной поляне батальон выстроили в форме каре. (Что за слово — «каре»? От слова «кара»?)

Трибунал: командование батальона, политотдел полка, офицер из СМЕРШа — на этот раз судил стоя, а щуплый и бледный солдатик, без погон и ремня, с туго забинтованной рукой на перевязи, стоял в стороне от них, охраняемый двумя автоматчиками.

Процедура была недолгой. Высокий офицер по бумаге зачитал текст приговора: «За самострел, произведенный в боевой обстановке на поле боя, что является изменой Родине, рядовой Игнатьев, автоматчик второй роты полка номер… приговаривается к высшей мере наказания — смертной казни через расстрел».

Офицер опустил лист, оглядел притихший батальон, потом снова поднял лист к глазам и продолжил. «Учитывая, что отец упомянутого солдата находится сейчас тоже на фронте и награжден двумя боевыми орденами, а также то, что упомянутый солдат является первогодком… — офицер снова опустил лист и, выдержав паузу, закончил: — Заменить смертный приговор правом искупления вины кровью в боях».

Спустя два дня стало известно: солдат-первогодок Игнатьев искупил свою вину кровью — он был убит в первом же бою.

Вечером нас поднимают на марш. Всю ночь мы идем, а с первыми лучами яркого июньского солнца снова вступаем в бой. Опять пули свистят над головой, а у меня своя забота — с первого же трупа снимаю ботинок, а свой, дырявый, выкидываю в кусты.

Теперь никто не узнает.

ВЫСТРЕЛА НЕ БЫЛО!

От расстрела я спасся.

Ни секунды не сомневаюсь в том, что никто бы не поверил мне, что выстрел произошел нечаянно.

Нечаянно! Какое детское слово, и как оно не вяжется с кровавой обстановкой вокруг, где жизнь человеческая висит на волоске, где нет доверия, где нет дружбы, где нервы у людей на пределе, а оружие на взводе, и только случай может сохранить жизнь.

На это раз он за меня — ведь пуля могла ударить на полсантиметра ближе к стопе.

За что?

Я бреду по лесу с писарской сумкой на боку.

В лесу затишье. Уже целую ночь и полдня как не слышно выстрелов. Мы почему-то не двигаемся, ждем команды, а финны, как всегда, попрятались в глубине леса.

Мне нужно идти по просеке километра два, и я выйду к штабу батальона, где должен получить почту и передать пакет. Я иду не торопясь, сберегая силы. Торопиться некуда. Все равно война.

В просветах между деревьями, вдали возникает тень, идущая навстречу мне. Я узнаю эту высокую сутулую фигуру. Это наш ротный писарь, которого позавчера перевели в штаб батальона, а меня поставили на его место. Всегда угрюмый и неразговорчивый, он вызывает у меня какую-то смутную симпатию, так как он один из немногих в роте, кто никогда ничем не оскорбил меня, не задел, не насмехался, и я внутренне благодарен ему за его молчаливый нейтралитет.

Мы равняемся, и он останавливается.

— Я хотел вас предостеречь, — говорит он неожиданно и оглядывается.

— От чего?

— Не от чего, а от кого. Кунатов вас ненавидит и сделает все, чтобы вас кончить…

— Как так — кончить?

— Да вот так! Не пройдет и пары суток, как вас убьют или ранят. Он поможет в этом…

— За что?

— Как за что? За то, что вы — еврей!

Я стою, опустив голову. Пачка табаку… За раненым под пули. Все так.

— Я вас удивил?

— В общем, нет… Я только не знал, что это так конкретно.

— Вполне. Считал необходимым вас предупредить. Поберегитесь.

— Поберегитесь! Как?.. А вообще-то спасибо.

Он машет рукой и снова оглядывается.

— А почему вы мне об этом сказали?

— Ненавижу всю эту сволочь! — Он делает шаг в сторону, чтобы идти дальше, но оборачивается и говорит: — Если вы выберетесь из этой мясорубки, что вряд ли, то потом что-нибудь поймете…

Высокий и сутулый, он шагает от меня и теряется в деревьях.

Я даже не знаю, как его зовут.

Быть осторожнее… Поберечься… Разве это возможно?

Подтягиваю сумку и топаю дальше…

Самоходка

Ветки бьют по лицу — справа и слева между деревьями мелькают серые шинели — стреляю от живота вперед короткими очередями — стреляю бесцельно — на звук — согласно приказу — создать огневую завесу и продвигаться вперед, потому что эти проклятые финны ежедневно убивают и ранят уж очень много наших — поэтому приказ — патронов не жалеть, бить всем вперед на звук финских автоматов и в атаку — ура!

Грохот. Грохот. Падаем. Ползем. Стреляем. Бежим. Снова падаем лицом в остропахнущий торф, снова вскакиваем и как безумные мчимся вперед.

Встречные пули тонко свистят над головой. Сыплются на плечи срезанные ими ветки и труха. Взводы перемешались в лесной чащобе, все перепутались, сейчас главное — не отстать, не затеряться в этом хаосе.

Бегущий рядом со мной молодой лейтенант из второго взвода вскрикивает и хватается за руку. Сквозь пальцы сочится яркая кровь. Он приваливается к елочке и пытается достать из кармана индивидуальный пакет, но боль в запястье слишком велика, и он стонет, сморщив розовое мальчишеское лицо.

— Солдат! Помоги!

Я достаю у него из кармана пакет, присаживаюсь и бинтую, как умею. Он кряхтит и сдерживает крик. Бинт сразу весь намокает. Из его рюкзака достаю второй и бинтую поверх повязки. Остатком накладываю жгут на предплечье (кажется, так учили), и мы оба вскакиваем на ноги. Еще секунду обалдело смотрим друг на друга, а потом разбегаемся в разные стороны: он — назад к санбату, а я вперед — догонять своих.

Звуки боя слышатся где-то впереди и сбоку. Быстрее туда: самое страшное — оказаться одному в лесу. Можно потерять ориентировку и выйти прямо к финнам в лапы, и, кроме того, я обязан быть в строю, а не перевязывать раненых — на это есть санитары. Я бегу дальше, выскакиваю на поляну и чуть не спотыкаюсь о чье-то тело.

Раненый — большой и плотный парень со светлым чубом, — увидя меня, протягивает ко мне руки и зовёт протяжно и жалобно:

— Браток! Постой… Помоги… Все ушли… Не могу ползти… В грудь… Ох!..

Я наклоняюсь. Грудь у парня прострелена. На седом мху через поляну тянется бурый кровавый след, видно, сюда только хватило сил доползти. Лицо у парня белое, глаза провалились,

рот судорожно хватает воздух, и бессвязные слова вырываются с хрипом. Не жилец… Как тот, которого я вытаскивал с просеки.

— Слушай! Я не могу тебе помочь… Мне надо бежать к своим, вон они куда ушли… Меня же за дезертира посчитают…

— Браток… не бросай! Позови кого… ведь помру… браток…

В отчаянии стою я над ним. Ну куда же я его дену? Кругом лес. Можно, конечно, попытаться тащить его назад, но как я потом оправдаюсь? Где я был?

Он хватает меня за руку и держит. Последняя надежда. Жест отчаяния. Что делать?

Опускаюсь рядом с ним, закидываю его руку себе на шею и пытаюсь волочить назад. Ну до чего же тяжеленный! Он, наверное, на голову выше меня, да и шире раза в полтора. Он хрипит и пытается помочь мне, отталкиваясь ногами от земли, но делает только хуже. Я задыхаюсь и, протащив его метров пять, останавливаюсь.

— Стой, дай передохнуть.

Что же делать? Мне его не вытащить. Кричать санитаров опасно — финны ходят по лесу кучками и в одиночку, прячутся, пропускают наши части вперед и бьют с тыла; их гибкая тактика уже известна и стоит нам многих жертв. Сами же они неуловимы и хитры, как бесы. Вот уже третья неделя как я в боях, — сколько полегло на моих глазах наших! Сотни полторы или больше — это я видел лично сам, а вообще батальон превратился в роту…

А сколько убитых солдат противника я видел? У перекрестка дорог труп лежал — раз, в лесу — два, в болоте еще двое… Всего пятеро…

Трещат ветки. Я падаю и затаиваюсь, выставив автомат. Через поляну идут наши, несколько человек в маскхалатах.

Бросаюсь к ним.

— Ребята, помогите! Мне не дотащить одному. Тяжелораненый. Парень вот-вот загнется…

Меня слушают неохотно, не останавливаясь, угрюмо наклонив головы. Двое из них с перевязанными головами, одного тащат под руки, а голова у него свесилась на грудь и болтается. Раненые. Вот беда-то! Они молча продолжают свой путь, а я в отчаянии хватаюсь за последнего, который вроде был цел и невредим. Я ору на него, что он подлец и обязан мне помочь тащить раненого. Он оборачивает ко мне измученное лицо и, странно тряся головой, говорит тихо и заикаясь:

— Что о-орешь? К-круг-гом финны… К-контуженный я… Р-ребята все ранены… Н-не можем… — и поворачивается, чтобы идти.

— Вы хоть санитаров сюда пошлите, — кричу я вслед и

понимаю, что это безнадежно, им бы самим выбраться, да и как найдут санитары маленькую поляну среди леса?

Ветви смыкаются за ними. Опять я один с раненым, и опять я пытаюсь его тащить. Еще метр, еще один, еще… Тяжело. Не могу. До дороги километра три, а он угасает на глазах, но судорожно цепляется за меня и уже не кричит, а шепчет: «Браток… не бросай!..»

Резкая очередь где-то вблизи, и отбитая кора сосны, под которой я лежу, сыплется на голову. Свист пуль, снова частый грохот — мох метрах в трех от меня взрывается маленькими фонтанчиками.

Финны! Засекли!

Отталкиваю сцепленные у меня на шее руки и хватаюсь за автомат. Прыжок в яму. Руки сами отводят затвор и нажимают спуск. Бью на звук. Еще очередь. Где-то сзади меня дробно стрекочет еще один финский автомат. В ужасе выпрыгиваю из ямы и, стреляя то вперед, то назад, мечусь между деревьями неизвестно куда — вправо, влево, назад, в сторону… Кончились патроны. Теперь я безоружен. Бегу очертя голову, перепрыгивая кусты, огибая деревья, натыкаясь на молодняк. Ничего не соображаю, не помню, не знаю, мною владеет сейчас только страх, а ноги несут меня неизвестно куда…

Просвет. Голоса. Дорога? Да. Стоят машины. Наши? Наши!

Выбегаю на дорогу. В кювете горит танк, опрокинутый кверху гусеницами, стоят несколько «студебеккеров», водителей в кабинах не видно, в придорожных кустах залегли какие-то незнакомые солдаты, а придорожная полоса куском метров сто — сто пятьдесят вся изрыта, искорежена поваленным лесом, разломанными стволами сосен, свежей, будто специально наломанной хвоей. А на дороге ни души. Странно что-то. Что это? Был танковый бой? А почему все попрятались в лес?

— Солдат! Назад! Ко мне! — властный голос из кустов.

Подхожу. Незнакомый майор. Рядом с ним группа офицеров. Все они возбуждены и смотрят куда-то в сторону.

— Откуда? Из какого батальона?

Называю.

— Почему здесь?

— Отбился. Перевязывал раненого.

Майор переглядывается с офицерами.

— Слушай, друг, — вдруг конфиденциально обращается он ко мне, — хотим тебе задание дать.

Молча смотрю на него. Пока я не в своей части, каждый офицер мне начальство.

— Вон, видишь там, на опушке леса, вон там, метров

восемьсот отсюда, наша самоходка стоит?

— Вижу.

— Валяй в разведку туда! Одним духом!

— А что там разведывать?

— Ты что, не соображаешь? — вдруг срывается на крик майор. — Финны там, говорят. Самоходку захватили. Вот нужно пойти и проверить: самоходка занята, или она пустая. Понял? Выполняй!

Понял. Выполняю. Ничего себе задание — с автоматом на самоходку! Перезаряжаю пустой диск, быстро перебегаю дорогу, перепрыгиваю поваленные стволы и углубляюсь в лес. Теперь с самоходки меня не видно. Можно продвигаться осторожно вперед, параллельно этому сосновому побоищу. Рыжие рваные клочья свежей коры, измочаленный луб, торчащие вверх корни.

Ловко он меня использовал, этот майор! И надо ж было мне выскочить прямо на него!

Осторожно выглядываю из-за стволов. Вот она, самоходка, — черная, квадратная, с высоко поднятым стволом.

Сколько их проходило рядом с нами, обгоняя пехотные колонны на марше, — было спокойно и даже радостно. Вот она, наша техника. Сила. Теперь же в руках финнов самоходка кажется мне совсем другой — грозной и страшной. Недаром наши все попрятались. И майор в том числе…

Осторожно. Если в самоходке никого нет, то рядом с ней могут засесть финны. Каждый мой шаг вперед может стать моим последним шагом. Как стреляют финны, мне уже известно. Осторожно. Я уже не иду, а крадусь от дерева к дереву. Ползу. Выглядываю. Вот и самоходка, приземистая, похожая на танк, совсем рядом, она замерла метрах в двадцати от меня. Никаких признаков жизни. Тишина. Постою еще немного вот так, за деревом, и потом к ней. Майор — сволочь! Хотя, в общем, он прав — зачем терять своих людей… Вот сейчас я выйду из леса, орудие развернется и шарахнет по мне. Майору станет ясно: самоходка в руках врага. Все правильно… Еще минутку постою и пойду. Еще минутку… Еще…

Тишина. Выхожу на поваленные стволы и, выставив автомат (если бы мог смеяться, то было бы смешно), иду вперед. Шаг, второй, третий… С каждым шагом страх покидает меня — нет там никого, иначе давно бы уже подстрелили.

Подойдя вплотную, забираюсь на гусеницу и нахально стучу по башне, затем поднимаю автомат и даю короткую очередь в воздух.

На дороге оживление. Забегали фигурки. Загудели машины, начали разворачиваться.

Возвращаюсь на дорогу и, стараясь не попадаться на глаза майору (еще пошлет снова какой-нибудь танк брать), отправляюсь искать своих.

Вместе со мной еще двое из нашего батальона. Так же, как и я, отбились в лесу, заблудились и потом вышли на дорогу.

Мы идем по каким-то тропкам, огибаем небольшое озерко, углубляемся в молодой сосняк… До чего же хочется спать! Кажется — только дай, и прямо здесь упаду и буду спать, спать, сколько можно… Лесная дорожка, овраг, пахнет вереском и торфом, поляна. Знакомая поляна…

На краю ее лежит большой парень со светлым чубом, и белый подбородок его остро и неподвижно задрался вверх…

«Браток… не бросай…»

Будь оно все проклято!

Последний бой

…Грубый пинок ногой, и я сажусь, обалдело оглядываясь. Трава на кочке, смятая моей головой, распрямляется, пилотка лежит на траве, метрах в пяти начинаются сосны, прямо передо мной ноги в офицерских сапогах. Поднимаю голову и встречаюсь взглядом с капитаном Сухановым из штаба батальона. Его лицо перекошено злобой, кулак подносится к моему лицу.

— Спать? Встать, сволочь! Встать, тебе говорят!

Я вскакиваю.

— Почему здесь? Где рота?

— Отстал от своих… Перевязывал раненого, а рота ушла…

— Дезертировать хочешь… твоя морда! — Его голос переходит в свистящий шепот.

— Да нет же, правда, перевязывал раненого, а потом здесь самоходка… Майор приказал проверить… Послал в разведку… Думали, что самоходку заняли финны… Я проверял, а потом пошел искать роту… свалился, заснул…

Он не верит ни одному моему слову. Чувство бессилия доказать свою правоту расслабляет мою волю, делает речь бессвязной и неубедительной, я как-то весь сжимаюсь и поникаю. Не верит? Ну что же — я не могу доказать, я не хочу доказывать. Если он захочет меня расстрелять, я не буду доказывать, что невиновен. Это безнадежно и поэтому не нужно.

Молча жду, что будет дальше. К капитану подходят связные, что-то ему докладывают, вдали снова начинают бухать минометы, группа солдат в касках проходит мимо нас в лес по тропинке. Капитан спрашивает что-то у них, потом подзывает меня.

— Пойдешь с ними. Найдешь свою роту. Если еще раз увижу здесь, расстреляю! Понятно?

— Понятно.

— Повтори!

— Идти с ними. Найти свою роту. Если увидите здесь еще раз — расстреляете.

— Кругом! Шагом марш!

Обошлось! И на этот раз обошлось! Но сколько раз еще суждено мне быть уже на краю, и сколько раз еще выручит меня случай? Сколько раз смерть проносилась около меня на расстоянии сантиметра! Сколько трупов я перешагнул — трупов, за минуту до этого бывших людьми? Ведь, казалось бы, малейшее изменение обстоятельств — выход из-за дерева на секунду раньше или на секунду позже — и снайперская пуля настигла бы меня; стоило осколку прожужжать чуть ниже — и с треском

разлетелся бы мой череп; если бы ствол автомата был на долю миллиметра направлен под другим углом, я бы раздробил себе палец на ноге. Трибунал, расстрел. Сколько смертей ожидает солдата при каждом его шаге, при каждом его вздохе, наяву и во сне, от противника и от своих, от случайности и закономерности! В чем она — эта закономерность? В том, что люди гибнут, или в том, что они выживают? Каждая минута фронтовой жизни убеждает в том, что закономерна гибель, и лишь всемогущий Случай приходит на помощь и в, казалось бы, безвыходных, конченых положениях выводит человека к свету, к жизни, вырывая его, буквально вырывая из цепких лап смерти.

Так и сейчас, будь капитан в другом настроении, он застрелил бы меня как дезертира, и никто бы ему слова не сказал. Он был бы прав и с воинской точки зрения, и с юридической, и с моральной.

Пока что догоняю гвардейцев и шагаю с ними по тропинке.

В лесу темнеет. Где-то далеко сзади просматривается пожар, слева между деревьями поблескивает озеро, впереди идет редкая перестрелка.

Мы идем по неприметной лесной тропке. Под ногами начинает чавкать. Болото. Пахнет горелым. Лес расступается, и мы выходим на широкую просеку. За пнями, между кочками, лежат бойцы в темных намокших шинелях. Среди них я узнаю своих — Баранова, Осмачко. Молча ложусь рядом с ними. Вот я и дома. У своих. Надо доложить о прибытии.

— Где лейтенант? — спрашиваю у соседа. Он машет рукой. Понятно. Лейтенанта нет. Убит или ранен. Не все ли равно? Кочка, на которой лежу, мягкая, ноги лежат не в воде, а на высоком камне. Там сухо. Где-то далеко пощелкивают финские автоматы. Можно вздремнуть. Укладываю автомат под щеку и мгновенно засыпаю.

Просыпаюсь от резкой очереди рядом. Стреляет сосед. В цепи заметно движение, то там, то здесь вспыхивают огоньки автоматных очередей, где-то невдалеке разрывается мина, другая, третья. Напряженно вглядываюсь в темноту. Ничего не видно, кроме ближних стволов. Дальше синева и мрак. Слышно очередь финского автомата. Поворачиваюсь на звук, отвожу затвор и нажимаю спуск. Стреляю недолго, зачем зря тратить патроны? Сосед умолкает тоже, а справа от меня начинает бить пулемет. Это наш, станковый, его голос хорошо знаком. Снова редкие выстрелы по цепи. Противника не видно, но слышно все отчетливее. Сильно пахнет торфом и гарью, правая нога соскользнула с камня и попала в воду. Ботинок намок и теперь неприятно холодит ногу. Поганое здесь место. Что-то тревожное

чудится мне в нависших над нами сухих лапах елок, в запахе гари и болота, в мягких, податливо уходящих вниз кочках, поросших вереском и мхом.

— Отходить вправо — к дороге! — Это пробежал по цепи связной. — Приказ нового командира.

Выстрелы противника раздаются все ближе. Короткими перебежками, от дерева к дереву, перебегаем, падаем, вскакиваем, снова перебегаем.

Сколько раз мы вот так, не видя противника, меняли позиции в лесу, потом выходили совсем в другой стороне, и опять шли в лес, и опять стреляли на звук, и снова ничего не понимали: где мы, где противник. Иногда казалось, что мы играем в какую-то странную, нелепую игру — беготню по лесу в разных направлениях, и только смерть, собиравшая в этой игре щедрую дань, напоминала нам о ее жестоких условиях.

В сегодняшних наших действиях, вопреки всему, есть логика. Финны слева и впереди — мы отходим вправо и назад. Или, может быть, я уже начал немного разбираться в обстановке. Сегодня уже одиннадцатое июля. Ровно три недели как я на фронте…

Мы выходим на придорожный участок леса и начинаем окапываться. Рою себе ячейку в желтом песке у корней огромной сосны. С одной стороны, она является дополнительной защитой от пуль и осколков. С другой — нужно рубить корни, и, кроме того, если ее повалит взрывом, то мне уже не нужно будет ни пули, ни осколка. Кругом меня роют ячейки солдаты — остатки нашего батальона. Сколько нас осталось — восемьдесят или девяносто человек? Я узнаю бойцов из соседних рот. Вот красивый черный грузин из второй роты — пулеметчик, вот несколько ребят из третьей роты быстро откапывают себе общий окоп, стучит железо о камень, летят щепки корней, идет беспрерывная работа лопатками.

Я вырываю себе ровик по длине тела. Здесь, у дороги, сухо: песок, валуны, сосны. Глубина ровика сантиметров тридцать, я вытягиваюсь во всю длину и жую сухарь. Уютно. Стрельба прекратилась. Слышна только далекая артиллерийская канонада, над моей головой темно-зеленые ветви сосны спокойно шумят, напоминая о том, что есть жизнь кроме войны, есть дом, родные, мама… Где они сейчас? Думают ли обо мне?

Вынимаю бумагу, карандаш и начинаю писать.

«Милые мои родные! Вот уже три недели как я в боях, и за это время ни одного письма от вас. Письма не доходят — слишком часто мы меняем место. Мы в наступлении…»

Воющий звук прерывает мое занятие. Я ныряю в свою ячейку

и прижимаюсь щекой к холодному песку. Взрыв! Вой новой мины смешивается с жужжанием летящих надо мной осколков. Крупные гудят, как шмели, мелкие звучат тоном выше. Взрыв где-то рядом! Чвах! Чвах! — это крупные куски металла врезаются в тело моей сосны. Взрыв. Другой. Третий. Завывание становится беспрерывным, переходит в сплошной высокий вой.

Я лежу на правом боку, вдавливая себя в землю, на зубах песок, автомат давит на висок, но я ничего не чувствую. Весь я — одно цельное животное желание — стать меньше, ужаться, вдавиться в холодную землю, чтобы укрыла она меня от этого ада над головой.

Внезапно обстрел кончается. Теперь я слышу, как рядом, в другой ячейке, надрывно кричит раненый, вдалеке еще один, к этому звуку примешивается еще один — далекий и незнакомый. Кажется, что в лесу кричат или поют высокими голосами. Что это? Высовываю голову из-за бруствера, и одновременно начинает бить наш пулемет где-то шагах в сорока слева от меня. Вглядываюсь в лес, откуда мы пришли, и замечаю мелькающие за деревьями маленькие фигурки. Крик, теперь я различаю даже отдельные звуки, нарастает. Аля-ля-ля! — звонко, на весь лес, раздается странное пение-крик, и вдруг до меня доходит. Это же атака! Финская атака! Впервые я вижу живых финнов в бою — вот они, эти жестокие отважные люди, горсточкой сдерживающие наши батальоны, великолепные стрелки, вот они, кто вызывает во мне вместе со злобой и страхом невольное уважение…

Быстро стряхиваю песок с автомата и даю длинную очередь. Это первые выстрелы по цели за три недели, меня охватывает изумляющий самого меня лихорадочный подъем — я стреляю по врагу, я воюю за Родину… Что в сравнении с этим все мои обиды и невзгоды, я в бою, я задыхаюсь от напряжения и волнения, кругом меня ведут огонь из всех ячеек, автоматы перекрывает мощный звук нашего пулемета.

Крик прекращается. Атака захлебнулась. Мы отбили ее. Отбили атаку! Устало опускаюсь на дно окопчика. Под ногой смятый лист бумаги. Ах, да, письмо! Допишу потом, сейчас не до этого. Запихиваю письмо в вещмешок и перезаряжаю автомат. Слева все еще кричит раненый.

Снова вой мины и взрыв. Бросаюсь ничком. Вой — взрыв. Вой — взрыв. Летят осколки… Там, в районе болота, работают три-четыре миномета, взрывы следуют один за другим. Где-то сидит их наблюдатель, и мины точно накрывают нашу оборону. Взрыв совсем рядом, и меня засыпает песком. Такого обстрела мы еще не испытывали.

Минутная тишина, и снова нарастает высокий пилящий по

нервам звук: аля-ля-ля!.. Атака!

Выгребаюсь из-под песка. Скорее! Звук приближается, я вскидываю автомат и нажимаю спуск. Заело. Затвор весь в песке. Скорее! Лихорадочно тереблю затвор. Пальцы дрожат и не слушаются. Снова стреляет наш пулемет, очередь, другая, крики утихают, вот молодец какой — заставил их залечь, но они придвинулись ближе метров на тридцать-сорок, не меньше, а я все еще вожусь с автоматом. Проклятье! Достаю гранату. Где же запал? Вот он. Спокойно. Не волноваться. Не торопиться. Финны не атакуют, залегли, стреляют, — значит, есть время. Вставляю запал, теперь можно почистить автомат. Кладу гранату на бруствер и сразу же хватаю оттуда и прячу на дно окопчика. Шальной осколок в мою гранату — и… Вынимаю затвор, прочищаю ствол, затвор вставлен — даю короткую очередь. Все в порядке! Пусть идут. Я готов.

Снова вой мины и далекий взрыв. Здорово это у них придумано! Обстрел — атака. Обстрел — атака. Во время обстрела, когда мы лежим, уткнувшись носами в землю, они продвигаются ближе к нам. Взрыв. Еще один, ближе. На этот раз они молотят по нашей обороне в шахматном порядке. Я лежу на самом переднем ее крае, они начали с дальнего, сейчас взрывы слышны все ближе и ближе, на меня падает большая ветка, срезанная осколком, я укрываю своим животом гранату, ее не должен задеть осколок… Леденящий душу вой нарастает, взрыв! Крик человека — истошный, смертельный; земля гудит и дрожит, зубы стиснуты, меня опять засыпает песком, взрыв совсем рядом, я глохну, снова вой… и страшная боль пронзает меня всего. Проносится мысль — все, конец!

Ничего не соображаю, судорожно барахтаюсь в песке, чтобы встать, очки залепило песком, но я вижу, что песок в крови, мне кажется, что вырвало левый бок, шинель намокает, я стою на коленях, левая рука висит, весь рукав шинели рваный и мокрый от крови. Безумная боль поднимает меня с места, я вскакиваю во весь рост и бегу налево, через всю оборону; мимо меня свистят пули, я перескакиваю через труп, я бегу и кричу; мелькают деревья, вспыхивают какие-то огни; вещмешок, висящий на правом плече, задевает за ветви и мешает бежать, на ходу сбрасываю его. На секунду мысль — забрать письма и фотографии… Льется кровь, бегу дальше в лес, в направлении дороги. Еще ни разу не видел, чтобы кровь лилась так обильно; впрочем, видел у того, у Гробова… Надо бежать быстрее. С кровью уходят силы. Сколько их? Хватит ли добежать до людей? Внезапно обнаруживаю, что бегу не по тропинке. Кругом лес. Страх парализует меня. Если сейчас заблужусь — конец. Надо

искать дорогу. Где же тропинка? Изменяю направление. Тропинки нет. Боль не утихает. Кровь бежит… Уже весь край шинели почернел от нее. Сбросить бы шинель… Нет, нельзя терять ни секунды… Где же эта проклятая тропинка, где же? Если найду — буду жить. Нет — смерть. Натыкаюсь на какие-то кусты, скорей мимо них! Но кусты снова встают на дороге, кругом кусты… Что такое? Кусты начинают хоровод… Кружится голова?.. Плохо. Нельзя поддаваться! Поддамся — смерть! Вперед! Надо искать тропинку. Надо найти выход. Выход в жизнь…

Внезапно я замечаю тонкую цветную нитку. Кабель! Вперед! Снова бегу, не спуская глаз с блестящей красной жилки. Теперь я дойду, дойду во что бы то ни стало! Впереди показываются люди. Иду к ним. Передние солдаты останавливаются и смотрят на меня с участием и страхом. Каски, винтовки… Гвардейцы спешат на помощь к нашим, на выручку. Меня перевязывают. Руку сгибают в локте и привязывают к шее, бинты сразу намокают и становятся ярко-красными.

Я полусижу около пня, рослый солдат помогает мне подняться, объясняет, как идти дальше.

— Здесь уже недалеко до дороги. Ничего, дотопаешь!

Сквозь боль и муку отмечаю — голос его заботлив, участие искренне. Гвардейцы уходят. На пне остается котелок с кашей и несколько кусочков сахара.

Это мне. Это от чистого сердца… Как непривычно!

Вперед! Скорее к дороге! Снова кружится голова. Нет, теперь уж я обязательно дойду! Обязательно!

Меня догоняют легкораненые, мы идем втроем. Деревья редеют, вот и дорога, разломанный танками лес, вот «студебеккеры» катят с бойцами, прогромыхало орудие, идут войска. Палатка с красным крестом белеет невдалеке.

В ногах у меня странная дрожь. Я опять иду один, легкораненые давно обогнали меня, сейчас они уже в санбате. Но мне уже не страшно. Я вышел. Если упаду — заметят. Нет, я не упаду, я дойду. Я обязательно дойду! Вот уже палатка. Пожилой санитар идет мне навстречу, поддерживает меня, ведет внутрь. Там полутемно, на полу носилки с ранеными, крики, стоны.

Мою шинель разрезают и отбрасывают, снова перевязывают поверх красных бинтов… Мне становится дурно, и меня рвет прямо на руки санитару.

Подъезжает телега, кто-то кричит: «Которые без ног, давай сюда!» Санитары выносят носилки. Я уже не кричу, а тихо постанываю, мне нехорошо, мутит.

— Иди к телеге, малый, — говорит санитар.

Встаю, делаю два шага, палатка идет ходуном, потолок

опускается, плывет… Темнота. Теряю сознание…

Часть III. ГОСПИТАЛИ

Санбаты

Как в калейдоскопе, мелькают люди, места, события…

Вповалку лежим мы в кузове грузовой машины; стонут, кричат вокруг меня раненые. Носилки… Брезентовые палатки фронтового санбата… Рыжая девчонка в белом халате раздевает меня догола, выкидывает окровавленное белье… Выражение лица сосредоточенное и испуганное.

— Господи, какой худой!

Первый операционный стол… Меня разматывают… Адская боль… Темнота…

Большая палатка набита ранеными до отказа. Мы рядами лежим в полутьме, головами к брезенту, ногами к выходу. Кто-то хрипит в углу. Темно.

Тяжелый запах лекарств, крови, пота стоит внутри, хотя брезентовые двери палатки поминутно хлопают, впуская и выпуская санитаров — солдат выздоравливающего батальона.

…Ночь. Нас везут на телеге, запряженной парой рыжих сытых коней. Над нами в темно-синем небе черными силуэтами уплывают ветви придорожных деревьев. По мягкой лесной дороге телега идет плавно, но вот возница сворачивает, и нас начинает дробно трясти. Мы трясемся по настилу из молодых деревьев, уложенных плотно друг к другу, — обычной фронтовой дороге из тех, что протягивают в болотистых местах.

Неделю назад мы сами строили такую дорогу — не по ней ли везут нас сейчас, и каждый толчок телеги отзывается острой болью…

— Терпи, ребята, терпи. Тут недалеко…

Новый санбат. Сон урывками… Свет и тьма… Перевязочная, новые лубки… Литр глюкозы подкожно. Миски с кашей, к которой я не притрагиваюсь…

В новом санбате судна раненым подает молодой санитар, разбитной низкорослый парень.

Я прошу его подать мне судно. Он вдруг осклабливается и говорит:

— Ничаво, яврей, сам слезешь!

И когда я, собрав всего себя, из последних сил сползаю с нар на судно, он стоит рядом и издевается…

Лютая злоба, помноженная на бессилие и отчаяние, наполняет меня всего. Я глухо ругаюсь — что я еще могу…

В ответ санитар, выходя, наступает мне на ноги и говорит:

— Ужо погоди…

Не больно. Но сам факт…

После перевязки, к великой моей радости, меня по ошибке вносят в другую палатку, которую обслуживает другой санитар — седенький пожилой солдат с желтыми усами и усталым лицом.

В новой палатке всего пять или шесть человек. Скоро их уносят, и старик спрашивает меня, не позвать ли дохтура, пущай тебя отсель забирают.

Мне удается уговорить его, и я остаюсь один на всю большую палатку.

Старик приносит мне ужин, а потом с аппетитом съедает его, когда я отказываюсь. Темнеет. По брезенту начинают постукивать капли дождя. Мой санитар сначала клюет носом, сидя в углу, а потом уходит совсем. Боли немного отпустили.

Лишь бы не явился сюда этот гад, а так мне хорошо…

Просыпаюсь от грохота и белых вспышек, высвечивающих на мгновение брезентовые прямоугольники крыши. Что это? Орудия? Минометный налет? Бомбежка?

Господи, да это же гром! Обыкновенный гром. Сильный дождь шумит по брезенту, летняя гроза, больше ничего. Молния снаружи освещает темный свод надо мной; опять грохочет над головой… Какой же это мирный безопасный, какой приятный и уютный грохот!

Ветер хлопает брезентом. С верха палатки начинает течь. Повезло — струйка журчит где-то рядом, а ведь могло бы литься прямо на меня. Брызги с пола летят на одеяло…

Все в порядке — обыкновенная гроза.

Утром в палатку засовывает голову какой-то врач, замечает меня и удивляется. Узнав, что я провел здесь всю ночь, удивляется еще больше, стаскивает с меня намокшее за ночь одеяло (гроза длилась всю ночь) и убегает куда-то. За стенкой ругает моего старика санитара.

Приходят двое с носилками. Носилки грузят в машину.

Тряска.

— Куда везут?

— В Пашу. В Паше — госпиталь.

Паша

…Большая комната сплошь заставлена железными койками. Спертый дух. Тяжелораненых накормили в один из завтраков кильками, и теперь всю палату отчаянно несет, нянечки не успевают с суднами. Вносят и выносят носилки. Стук костылей. Алюминиевые миски с кашей. Бинты, лубки, гипсовые ноги.

…Как в полусне, мелькают белые халаты… Меня регулярно колют, удаляют осколки, меняют шины… Рассматриваю пальцы на больной руке. Желтые, они неподвижно торчат из-под лубков и бинтов… Мало надежды…

Новое ощущение: забытый звук — стук легких женских каблуков…

Мои сосед, грузный бритоголовый парень, пишет по моей просьбе письма в Угоры и Ленинград. Я сообщаю о том, что тяжело ранен и еду куда-то в глубокий тыл. Куда — неизвестно.

К соседу часто прибегает молодая полненькая медсестра.

Она садится к нему на край койки, гладит его, он берет ее руки в свои, и они о чем-то болтают, весело и непринужденно. Потом он обнимает ее. Я отворачиваюсь. Лежу я все время на спине, неподвижно. Любое движение причиняет боль.

…Операция. Меня переваливают с носилок на операционный стол. Склоненные лица в белых масках, бренчание инструментов… Падают на пол со стуком шины… Боль…

— Сейчас будем давать наркоз, считайте…

За стенами взрыв, вой сирены… Лица в масках пришли в движение, мелькают надо мной… Тревога! Властный мужской голос: «Продолжать операцию!» Взрыв где-то недалеко, и все погружается в темноту… Суетня во мраке. Какие-то вскрики. Тот же голос: «Принести лампы!» Тусклый свет появляется откуда-то сбоку. Еще один огонек приближается ко мне… Запах керосина… Взрывы на улице отдаляются… «Пошла кровь, жгут!»

Белая маска наклоняется надо мной, резиновый жгут крепко закручивает руку и соскальзывает в верхнюю рану… Теряю сознание…

Свет. Горит электрический свет. Рот и нос залепила мокрая, отвратительно пахнущая сладким салфетка.

— Считайте. Считайте до ста…

— Раз, два, три… — Голос мой или не мой? Сейчас начнут оперировать… — Четыре, пять, шесть… — Странно, не могу шевельнуть здоровой рукой… засыпаю? Нет, я же еще считаю… — Девять, десять, одиннадцать… — Я все слышу… Голос мой гремит

и падает в металлическую бездну, эхо отвечает ему… — Пятнадцать, шестнадцать, сем… — Звук исчезает…

Голос издалека: «Спит». Нет, я еще не сплю, я чувствую… Сейчас начнут резать, а я все чувствую, хотя не могу ни говорить, ни шевелиться… Ведь до ста, он сам велел до ста… Сто — единица с двумя нулями… Я дышу — глоток воздуха осязаем… Он как круглый нуль, абсолютный нуль… Видимое ничто… Запомню ли, что видел «ничто»?..

Просыпаюсь на койке от сильных болей.

На мне «самолет» — гипсовая рубашка с загипсованной и поднятой над грудью больной рукой.

«Самолет» — на месяц. Покой костям, — может быть, срастутся… Много пью, ничего не ем. Сон исчез. Сутки тянутся бесконечно. Надо терпеть.

Сосед уже ходит с костылями, у него задета стопа. Говорит, что недели через две — в выздоравливающий батальон. В добрый путь!

У меня же — своя дорога. Надо терпеть.

Терпеть и ждать — что же будет дальше?..

…Плывут, плывут назад зеленые пашские берега. Надо мною небо, серое и глубокое; мутные облачка то собираются вместе и темнеют в куче, то расходятся бесформенными обрывками, обнажая белые зыбкие просветы.

Я лежу на носилках, крайний в ряду. Под головой у меня канат, на мне серое одеяло. Неуклюжая баржа покачивается на воде, и мне хорошо. Боль отпустила. Скосив глаз, я смотрю на уходящие берега, на песчаные отмели, сбегающие к воде, на серые домики с черными трубами, на кирпичные дома, изуродованные войной. Собака стоит на песке и лакает из реки. Лохматая, смешная. Вот лес пошел, высокие елки, сосны, низкие березки, кустарник, корни, вывороченные у берега…

Стонут соседи в ряду, просит кто-то пить, а баржа тихо покачивается и уносит метр за метром все дальше от фронтового ада, и я радуюсь каждому уплывающему кустику.

Рано утром сегодня зашумели, забегали в палатах. Я проснулся от крика — эвакуация! Значит, куда-то повезут. Куда? Не все ли равно…

Двое солдат из выздоравливающего батальона остановились у моей койки.

— Кого нести? Этого?

— Дак у него ж рука! Ноги целы?

— Целы.

— Сам дойдешь.

Ругаясь, они уходят. Потом снова возвращаются с сестрой.

— Берите его.

— У него ж ноги целы! Еще придурок один!

Так. Значит, теперь я придурок. Кем я только не перебывал за это время! Дезертиром я был. Охломоном, недоноском, заразой, жидовней тоже был. Великим дурнем, вором (пачка табака), мародерской мордой… Теперь я придурок.

— Берите, я вам говорю. Он тяжелый.

— Тяжелый, тяжелый! Вот тяжелого и нести тяжело. Дала бы легкого!

— Меньше болтай! Несите!

Носилки ставят рядом с койкой.

— Перелезай! — командует солдат.

— Не могу.

Солдат ругается и резко сбрасывает с меня одеяло. Молчание, длящееся секунду-две. И мне:

— Давай, друг, потерпи, сейчас перенесем.

Бережно берут они меня за ноги, за гипсовую рубашку. Сестра придерживает голову. Больно. Но вот я уже на носилках, солдаты несут меня, я вижу коричневый халат, согбенную шею и напряженные руки переднего.

— Отдохнем.

— Давай.

Носилки на земле. Весь я на них не уместился, голова свешивается вниз, приходится напрягаться, чтобы удержать голову на уровне туловища, но я молчу. Меня несут, а ноги-то у меня целы. Придурок.

— Курить хочешь?

— Не курю.

— Чем тебя?

— Миной.

— Сам откуда?

— Ленинградский.

— Так. Пошли дальше.

Снова качаются носилки, снова впереди коричневый халат и напряженная шея. Далеко несут меня солдаты. Несколько раз отдыхают, курят, не торопятся. Мы спускаемся вниз по тропке между деревьев, минуем какие-то груды. Все ниже и ниже. Река? Река. Паша. Блестит синим, а у берега темная серая баржа и на ней носилки с ранеными.

Солдаты оставляют меня на дощатых сходнях и уходят за новым раненым. Я жду своей очереди, а усталая шея уже не держит голову, и она все время отваливается назад. Мимо меня снуют матросы (откуда они здесь?), солдаты, пару раз мелькают

белые халаты.

— Доктор! — зову я.

Рыжеватый в очках останавливается.

— Что?

— Под голову бы что-нибудь.

Он машет рукой и убегает.

Какие-то повозки подъезжают к реке. Лошади черные, гривастые, худые. На повозках раненые. Стонут. Кричат. Сколько их?

— Грузи быстрей!

Отправка… отправка…

В барже начинает что-то стучать. Это самоходная баржа, немецкая. Сходни брошены на ее борт, и по ней туда-сюда бегают матросы с носилками. Мне видно, как растут ряды носилок на барже, уже вроде и мест нет. Куда же меня?

— Быстрее!..

Гудок. Короткий и какой-то необычный, но сразу подхлестнувший чем-то далеким, дорожным, путевым…

— Давай, давай!

Мои носилки рывком поднимаются в воздух. Мне не видно заднего носильщика, но размеры переднего поражают меня. До чего ж огромный матросище! Могучая спина, бескозырка на затылке, ленточка во рту, а несет так легко, почти без напряжения. Острая зависть, смешанная с восхищением, на миг овладевает мной — ну до чего здоров! Мои носилки ставят у самого борта. Я последний. Что-то кричат, баржа дрожит подо мной и начинает отваливать.

— Матрос! — кричу я, набрав силы.

— Что тебе?

— Что-нибудь под голову…

— Эх, браток, что ж я тебе дам?

Большая кудрявая голова наклоняется надо мной. Широкие скулы, загорелое лицо, большой рубленый рот. Баржа отваливает от сходен, моему матросу что-то кричат с берега, а он растерянно оглядывается вокруг и вдруг бросается куда-то, а через секунду сует мне под голову свернутый канат — целую бухту.

— Хорош?

— Хорош. Спасибо!

— Будь здоров, браток!

Ослепительная улыбка белых крупных зубов, и гигантский прыжок с борта на уходящие сходни. Я вижу, как он там падает, но тут же встает во весь свой рост и машет мне бескозыркой. Все остальные на сходнях — по плечу ему.

Что-то подкатывает к горлу. Машу ему рукой, а потом

блаженно вытягиваюсь на носилках, Хорошо голове, и шея отдыхает.

Плывут назад зеленые пашские берега.

Покидая утром Пашу, я не мог знать, что разминусь на сутки с папой и мамой. Ночью они пересекут Пашу на узкой лодочке, а рано утром появятся в госпитале в надежде повидать меня и, получив ответ, что меня эвакуировали на запад, повернут назад в Ленинград в тоске и тревоге.

Когда я впоследствии узнал об этом, я поразился не тому, что они меня нашли, а маминой отваге — рискнуть пересечь ночью широкую реку в лодке. Мама не умела плавать, панически боялась воды и никогда в жизни — ни до, ни после этого случая — не садилась в лодку.

Ладога

Ладога. Нас грузят на пароход. Снова мелькают матросы с носилками, ходят врачи, нагибаясь к раненым, плещет волна где-то недалеко, и стоит пароход, небольшой, в камуфляжных пятнах. На нем поплывем дальше. Кто-то произносит: Волхов.

Значит, через Ладогу на Волхов? Странно. Ближе к Ленинграду. А может быть, потом в Ленинград? Папа и Лиля в Ленинграде. А может быть… Зачем думать — поехали… Нас устанавливают в два этажа на нарах, устроенных наспех. Удивительно, как ловко и легко работают матросы: двое бегут с носилками по сходням, у высокого борта стоит третий, который помогает им поднять носилки вверх, на вытянутые руки. На борту — другая пара. Быстрым движением они протягивают носилки на палубу, потом подхватывают их и почти бегом несут к нарам. У нар — еще один матрос. Рывок, и носилки на нарах.

Я попадаю на нижний этаж. Мой сосед справа весь перемотан бинтами, обе руки и голова, только нижняя часть лица свободна от бинтов, и я вижу, как тяжело он дышит открытым ртом.

— Курить есть? — Это сосед слева.

— Нет.

— Эх-ма! Махорку сперли, второй день без курева… Где ранило?

— На Петрозаводск шли…

— Гвардейская?

— Нет.

— Ох и побило же там наших! Я в гвардейской был. Всю дивизию как языком слизнуло!.. Уж потом группками собирались — своих искали, тут меня и вдарило по ногам. Малая берцовая перебита на левой. А на правой — так, мягкие ткани… Курево есть? — оборачивается он назад.

Ему протягивают кисет. Он хватает его, приподнимается на локтях, достает из-под носилок вещевой мешок, долго роется в нем, находит там газету, отрывает кусочек, сыплет табак и скручивает здоровую самокрутку. Затем оглядывается на хозяина кисета. Тот лежит, равнодушно глядя в потолок, а его тупой подбородок чернеет небритой щетиной.

Сосед отсыпает половину табака себе в кисет, достает финские спички, закуривает и с наслаждением затягивается. Потом ложится и пускает дым вверх.

— Так, значит. Курить достали. Ну, теперь все. Ты скажи, ведь как ладно вдарило. Малую берцовую…

— Чего ж ладного?

— Как чего? Отвоевался, значит. Домой поедем. Кировский я. А у тебя что — «самолет»?

— «Самолет».

— Тоже, значит, отвоевался?

— Да вроде…

— Э-эх! Теперь лечут пущай. И домой.

Звучит команда, пароход дает гудок, и я чувствую, что мы пошли. Легко качается палуба, ходит со скрипом дощатая крыша над головой, матросы бегают под резкие звуки команд. Пошли. В Ладогу. Второй раз в жизни я пересекаю Ладожское озеро…

Ровно два года тому назад от причала Петрокрепости отвалил пароход с двумя сотнями детей детского дома 55/61. Среди воспитателей — Мирра и мама, среди воспитанников — я. Серое небо, свинцовые волны, хмурая Ладога встретила нас тогда. Сгрудились старшие дети тесной кучей на борту, вцепились худыми руками в поручни парохода, с тоской и надеждой смотрят вдаль, — туда, где небо соединяется с водой, — туда, где их ждет покой, еда и жизнь.

В трюме темно и сыро. Там битком набито. Несколько отрядов младших ребят расположились на полу, вповалку, так что ни пройти, ни пролезть к каждому ребенку. Бродят, как тени, воспитатели, красными от бессонницы глазами смотрят за детьми, пытаясь хоть чем-то помочь им. Пароход сильно качает, ребят рвет.

Боцман выходит на палубу.

— Эх, ребят жалко! — бормочет он, застегивая бушлат.

— Конечно, жалко, — откликается молоденькая воспитательница, — мучаются дети.

— Что мне — ваших жалко? — изумляется боцман. — Мне своих ребят жалко — им убирать!

Сирена!

Завыла сирена, заметались матросы, топот ног, тревога, тревога!

— Зенитные пулеметы к бою!

Под непрерывный, несмолкающий, бередящий душу вой и топот ног раненые тревожно поднимают головы, кто-то встает и, хромая, ковыляет на палубу.

— Полный вперед!

Гудит палуба подо мной, тревожно шумят раненые; мучительно вглядываюсь в кусочек голубого неба, видного нам из-под палубы, а в воздухе возникает иной звук, нарастающий и въедливый.

— Самолеты! — кричит кировский. — Костыли! Давай костыли!

— По самолету противника — огонь!

Самолеты. Немецкие самолеты. А мы одни посреди Ладоги, прикованы к носилкам, и чувство собственной полной беспомощности серым страхом заполняет все нутро. Бьют пулеметы. Пароход гудит от их грохота. Маленькая зенитная пушка ухает по-собачьи, и рвутся где-то высоко ее снаряды. Гул самолетов прорывается сквозь грохот разрывов. Сейчас начнут бомбить. Сейчас…

Что я могу? Приподнять тяжелую голову, сбросить одеяло слабой рукой, согнуть ноги в коленях. Все. Нелепый гипсовый «самолет» придавливает меня к носилкам, а если бы его не было, все равно нет сил встать. Сейчас будут бомбить… Сейчас…

Кировский уже не кричит. Он судорожно вцепился в ручки носилок, лицо его побелело, а глаза широко раскрыты. Он сидит неподвижно и застыло смотрит наверх. Бьют, бьют пулеметы, лает зенитка, гудит пароход, а гул самолетов… Где он?.. Его не слышно. Тишина?

Что это?

Отогнали?

Неужели отогнали?

Тоненькая струйка надежды просачивается сквозь вату страха и отчаяния. Матросы проходят возбуждённые и громко разговаривают между собой.

— Средний вперед!

Отогнали! Нет гула, нет грохота, молчит пушка. Я вытираю простыней пот со лба. Рубашка взмокла и неприятно холодит спину. Кировский снова сворачивает самокрутку. Руки его трясутся. Он сидит и языком зализывает уголок газеты. Оба кисета лежат на одеяле.

— Ну дела! — говорит он. — Думал — все! К рыбам! Главное дело — бежать некуда. Ну куда с ней побежишь — с малой берцовой!

Я поворачиваю голову направо. Тихо лежит другой сосед. Бинты в коричневых пятнах покрывают его лицо. Нижняя часть лица открыта и неподвижна. Муха ползет по открытому рту.

— Эй, матрос!

— Чего тебе?

— Посмотри соседа.

Матрос наклоняется, трогает лицо раненого, потом встает.

— Готов. Жуков! А ну, иди сюда!

Два человека уносят носилки. Справа от меня пустота.

Санитарный поезд

Железная дорога. Гудки паровозов. Нас грузят в санитарный поезд. Я лежу на верхней полке и с интересом и удивлением изучаю непривычную обстановку. Все внутри вагона белое: белые стены, белые полки, белые стойки между ними упираются в белый потолок. Моя полка с бортом, чтобы не вывалиться ночью, справа на стенке укреплена подвижная полукруглая полочка, на которую ставят тарелки с едой. Справа от меня — верхняя часть окна, через которую, скосив глаз и вывернув шею, я вижу убегающие зеленые поля, россыпи темных домиков и светлую полоску неба.

Вагон живет уже привычным больничным бытом, я слышу обрывки разговоров, бряканье ложек, стоны, оханья, храп. Весь вагон — лежачий, и у персонала много забот. Носятся сестры с пилюлями, шприцами и клизмами, проводится умывание больных. Многие умываться сами не могут, поэтому нянечка, дважды погладив меня мокрой ладонью по лицу и сунув мне полотенце, спешит к следующей полке.

Хлопают железные входные двери, внизу происходит какая-то возня, кажется, вносят носилки с новыми ранеными. Обычное дело.

Однако что-то новое появляется в шуме, нарастает какой-то иной, угрожающий оттенок.

Шум усиливается, и я слышу сквозь него отдельные выкрики:

— Чего? Финнов?

— Финнов ложут!

— С нами рядом?

— Братва! Что же это делается? Финнов кладут! Убить их, б… сразу!

— Суки, в гроб… Выкинуть их в окошки! Перестрелять!

Тонкий и высокий женский голос прорывается в общем шуме:

— Ребята! Так они же раненые! — и тут же тонет в общем яростном реве: — Бей фашистов! Гады! Они нас убивали! Бей их, сук! Тарелками закидаем! Эх, не встать, я бы…

Слышен стук бросаемых костылей и звон разбитых тарелок. Подхваченный общим психозом, я тоже что-то ору. Моя боль, моя мука рвется из меня дикими и бессвязными выкриками, сосредоточившись, сконцентрировавшись на одной мысли: там, внизу, лежат те самые, из-за которых все это — кровь, раны, «самолет»…

Финнов выносят, и вагон не сразу, постепенно, успокаивается, затихает.

Я лежу, упершись глазами в потолок.

После нервного срыва почему-то усилились боли. На душе тяжело и гадко…

Конечно, мы правы, что вышибли их из вагона…

Но ведь они тоже раненые… И лежат с такими же «самолетами»…

В щели окошка убегающие зеленые поля. И светлая полоска неба.

Куда нас везут?

Котельнич

Мы лежим в обширном светлом, залитом солнцем коридоре. Длинный ряд кроватей с ранеными. Кровати спарены, чтобы втиснуть в коридор наибольшее количество коек.

Мой сосед, разбитной парень из Ростова, — бритая голова, оттопыренные уши, рот до ушей, не закрывающийся ни на минуту. На нижней рубахе болтается медаль «За отвагу».

— Мишка! Зачем медаль повесил?

— Эта медаль не простая, особая, ни у кого такой нет, — охотно поясняет он. — Ты глянь, — он наклоняется надо мной, — она мне жисть спасла!

Медаль действительно особая, она покорежена и изогнута.

— Вишь, пуля-то прямо в нее и вдарила, да и срикошетила в плечо. Плечо пробила, да уже сила не та, не навылет. Пулю вынули, на груди гематома… Что такое? Ну, синячище, с два кулака, гляди, во какой, а было еще боле… А если бы не медаль…

Он тараторит дальше, а я уже не слушаю его, так как с удивлением рассматриваю толстого белого червя, которого я снял с шеи. Откуда здесь черви? Что за чудеса? Что-то шевелится под гипсом у горла, я запускаю туда пальцы и с ужасом достаю второго червя, третьего…

Что это? Откуда? Я что — уже заживо гнию?..

Я мечусь по койке и кричу няньку, сестру, доктора, кого-нибудь…

Мишка оторопело смотрит на меня, потом срывается с места и скоро приводит нашего доктора Евдокию Ильиничну Сушко.

Красивая седая голова склоняется надо мной.

— Что с вами? Почему вы звали?

С дрожью и отвращением я объясняю.

— Не волнуйтесь, — говорит Евдокия Ильинична, — это не страшно, черви у многих, они заводятся под длительными гипсами. Потерпите. Сегодня будем вас смотреть, избавим нас и от гипса, и от червей.

Она похлопывает меня по щеке, и у меня от тепла ее руки, уверенного тона и доброго взгляда сразу легчает на душе. Я в надежных и умелых руках.

— Ты, парень, червяка не бойсь, — говорит мой сосед слева, пожилой усатый солдат, — червяк, он пользительный — он гной ест…

Операционная. Трещит гипс под ножницами в руках ведущего хирурга Николая Николаевича. Евдокия Ильинична держит мое

лицо в ладонях и приговаривает:

— Потерпите… Уже немного осталось… Потерпите, голубчик… Сейчас, сейчас…

Металлический звук инструментов, ударяемых о стерилизатор, приглушенные возгласы врачей, склонившихся надо мной, глаза между белизной шапок и масок, я корячусь от боли, задавливая крик… Стук гипса о кафельный пол, и тяжелый запах заполняет операционную…

Меня уносят в палату, Евдокия Ильинична садится рядом. Звучит ее ровный и, как мне кажется, нарочито спокойный голос:

— Мы, начальник отделения, ведущий хирург и я, провели осмотр и чистку раны. Положение тяжелое. Сустав практически отсутствует. Общее решение: необходима ампутация.

— Ампутация?.. А как же я… А если не резать? Тогда что?

— Без вашего согласия ампутацию производить не будем. Можно попробовать спасти руку… Но шансов почти никаких. К тому же может начаться гангрена. И тогда мы ничего не гарантируем…

— А при ампутации?

— Гарантируем жизнь. Операция завтра утром. Решайте.

Всю ночь меня душат слезы.

Утром я решаюсь.

Солнечный луч начертил светлые квадраты на противоположной стене. Медленно поворачиваю голову. Палата еще спит, и только около стола подметает пол вчерашняя старушка в белом халате. Что-то располагающее во всем ее облике: в усталом и добром лице, небольшой аккуратной фигуре, больших крестьянских руках и окающем напевном говоре. Глядя на нее, я вспоминаю детство, дачу под Лугой, Мирево, далекое, забытое, солнечное. Бор с седым мхом, синее озеро и ручеек с незабудками. Папа уплывает далеко, на середину озера, там машет прощально рукой и исчезает с поверхности. Мама зовет его, волнуется и бегает по берегу. Через пару минут папина голова появляется снова, голова фыркает и улыбается, а мама в изнеможении садится на траву:

— Всю душу он у меня выматывает!

Пахнет соснами и свежестью. Мокрый папа хватает меня на руки, заносит подальше от берега и окунает с головой. Я реву. Вода попала в уши, нос, рот, а папа смеется: учись нырять!

Почему это все всплыло при взгляде на эту старушку? То ли она напоминает мне миревских крестьян, то ли мою няню Ксению, а скорее всего, она как-то вобрала в себя и лес, и озеро, и

крестьянскую повадку, и ласковость старых русских женщин. Да и потом еще этот сон…

— Няня! — говорю я. — Вы сны умеете разгадывать?

Она перестает мести.

— Что за сон, родимой?

Мне приснилась полная плошка земляники с черникой, и все это в молоке. К чему это? Я задаю вопрос, не надеясь получить объяснение, мне просто приятно слышать ее напевный голос. Однако она задумывается.

— Это хороший сон, — говорит она уверенно, опершись на швабру. — Молоко — это прибыль. Красна ягода — радость. Черна ягода — грусть. Будет у тебя прибыль и радость, с грустью смешанная.

— Как это так?

— А так и будет. Вот помяни мое слово!

Она выходит из палаты. Задумываюсь. Грусти много, а в чем радость? Радость сейчас только в том, когда утихают боли, а они хоть и стали значительно слабее, но не отпускают ни на минуту.

Странные вещи творятся со мной после операции. Я весь цвету. Ноги покрылись мелкими прыщиками, все лицо стало нечистым, на носу, на губах, на лбу какие-то цветные пятна. Евдокия Ильинична говорит, что это от большого поступления новой крови.

Все это — «пыль на вазе» по сравнению с основной бедой.

Гремит таз о железную спинку кровати. Палата просыпается, начинается утреннее умывание.

В палате у нас все, кроме меня, — «галифешники». Так называются больные с ранением бедренной кости. В первую мировую войну французский генерал Галифе был ранен в бедро. Кость срослась, но образовала характерный выгиб наружу. Бравый и щеголеватый генерал не мог потерпеть такого уродства и после окончательного заживления раны заказал себе брюки особою покроя, скрывавшие изъян. Брюки французского генерала вошли потом в моду, больше того, были приняты как форма во многих европейских армиях и получили название «галифе».

Население палаты — десять человек. Ближайшие мои соседи — Женька Евграфов, сероглазый блондин; Андрей, угрюмый парень с красивым голосом (он часто поет, и все одну и ту же песню: «Знаю, ворон, твой обычай — ты сейчас от мертвых тел…»); пожилой узбек и деревенский добродушный мужичок Палагин по прозвищу Мать дорога́.

Палагин — единственный из палаты, попавший в госпиталь не с фронта, а из запасного полка. Будучи в секрете, на учениях, он залез на дерево, там заснул и свалился вниз, вдребезги

поломав себе ногу. Это обстоятельство является предметом всеобщего обсуждения и насмешек. Особенно придирается к Палагину острый на язык Женька. Затравив его и прослушав (уже в который раз) историю о том, как «заснул я на том суку, робята, закемарил, стало быть, и с сука-то и перемякнулся… Мать дорога! Как хлыстнет у меня ноженька!..», Женька прерывает его на полуслове и орет:

— Небось, Мать дорога, теперь на деревню свою приедешь и пойдешь девкам травить, как на фронте кровь мешками проливал…

Палагин не обижается. Просто не умеет. Нога у него на вытяжке, и все внимание его целый день сосредоточено на том, чтобы никто не задел висящие на кронштейне над задней спинкой кирпичи. Лежать ему так еще месяц, и ежедневно в палате раздается палагинский вопль:

— Да не ходи ты около меня, мать дорога!.. Кирпичи сверзишь, куды я те денусь, мать дорога!

На крайней койке лежит хороший человек — Ваня Кондаков из Ростова. Он часто подходит ко мне, приносит письма, рассказывает что-то свое, утешает. «Галифе» у него уже срослось, он сильно хромает, но готовится к скорой выписке.

Жалеет меня и Микола — молодой парень из Полтавы. Жалеет своеобразно: остановившись у моей койки и тыча пальцем в мою сторону, говорит:

— Ну куды ты зараз денешься? Сгинула твоя жизнь… Тильки пысарем разве… Будэшь пысарем…

Завтрак я проглатываю моментально. Первое время после ранения я вообще почти ничего не ел, но сейчас у меня волчий аппетит, и, хотя в госпитале кормят хорошо, мне всегда мало.

Начинается главное событие дня — обход врачей. В палату заходит Евдокия Ильинична и первым делом направляется ко мне. Это стало традицией — я самый тяжелый. Ее огромные карие глаза наклоняются надо мной. Седые волосы, как всегда, аккуратно убраны под белоснежной шапочкой хирурга.

— Здравствуйте. Как себя чувствуете?

— Лучше, Евдокия Ильинична. Только боли еще сильные…

— Это естественно. Но они должны утихать.

— Они утихают.

— Все идет хорошо. Давайте-ка перевяжемся.

Вместе с сестрой они разматывают бинты. Бинты серые, застиранные.

Стерильные новые бинты идут только на послеоперационные раны, а потом уже начинают мотать старые, застиранные и выкипяченные бинты. До войны я вообще не знал, что бинт можно

стирать, а здесь новый бинт — большая радость.

Слишком много нас — раненых. Больше, чем бинтов.

Бинт размотан. Теперь начинается самое неприятное. Сильным и резким движением Евдокия Ильинична срывает стерильную повяжу. Я охаю и сжимаю зубы. Глаза я закрываю тоже.

— Швы хорошие, гнойное отделение нормальное, гиперемия, — говорит вслух Евдокия Ильинична. — Риванол, стерильную салфетку.

Слова падают ровно, спокойно. За каждым словом — боль. Боль меняется. То рывком, то уколом, то мучительно-ноющая. По характеру боли определяю, что мне делают. Вот боль стала глухой и непрерывной, значит, перевязка закончена.

— Все идет хорошо! — повторяет Евдокия Ильинична и идет к следующему больному — все такая же прямая, строгая и красивая.

Женька берет костыли и идет на перевязку сам. Ваня Кондаков тоже. Бормочет что-то узбек в углу, ему делают укол.

Я лежу и наблюдаю за врачами.

Обход, кроме всего, — и развлечение, после него день тянется долго, разнообразясь только едой.

Вот и выходят белые халаты, а в палате начинается оживление. Хромая, входит Мишка с медалью, балагур из соседней палаты.

— Я до войны в синем костюме иду раз по Ростову, — начинает Мишка, — а навстречу девчонка идет. Красивая…

— Брось! — кричит Женька. — Ты уже рассказывал это, валяй другую…

— А вот, робяты, что я нам скажу, — вступает Палагин, — коли хошь какую девку к себе приманить, пымай лягушку, да ее в муравейник-то и брось ночью, да штоб луна была, а через две ночи на третью приди; лягушку-то мураши сожрут, а ты косточку грудинную у ней сломи, как кручок, та косточка, и тем кручочком девку-то и зацепи — твоя будет! Верно говорю.

(Два года спустя, уже студентом, читая «Преступление и наказание», я нашел у Достоевского точно такой же рецепт приманки нелюбящей девушки.)

— Зачем укол делал? — бормочет узбек. — Нога болит, нога резал, укол задница делал — теперь задница болит…

Женька моментально подхватывает:

— А куда же тебе, ялдаш чертов, укол делать? В задницу не хочешь — передницу подставляй!

Разговоры, непрерывный стук костылей, гул голосов… Меня начинает клонить в сон. Мысли разбегаются, снова сходятся, боль

в руке медленно утихает, а навстречу мне движется танк. Черный обгорелый танк с открытым люком… Сосны мелькают мимо — это я еду на этом танке, а он почему-то двигается неслышно, и в лесу стоит тишина… Куда же едет этот танк и почему нет никого кругом? Пушка поворачивается и прижимает мою левую руку, руке больно, я тяну ее изо всех сил, а пушка давит все сильнее и сильнее… А в строю кричат: «У нас еврей есть…» И я не могу идти вместе со всеми, потому что роняю автомат из больной руки… Где же танк?.. Его нет. Колька Зубенко смотрит на меня, машет руками и кричит: там к кому-то матка приехала… Где же танк?.. Матка приехала… На фронт? Грохочут автоматы, и сыпятся веточки, срезанные пулями с кустов…

— Эй, ты! — орет Зубенко над ухом. — Матка приехала…

Я открываю глаза и вижу маму в белом халате. Закрываю снова. Танка уже нет, Зубенко тоже исчез… И вдруг холодею, боль внутренняя, душевная боль охватывает меня всего — это же мама, живая мама, это не сон, она действительно здесь, передо мной — мамочка моя родная!

Я открываю глаза, и мы встречаемся взглядами. У мамы на глазах слезы, она смотрит на меня не отрываясь и молчит.

— Мамуся! — выдавливаю я. — Вот я теперь какой… — и отворачиваю угол одеяла…

— Я с тобой, — говорит мама, — теперь все будет хорошо…

Она обнимает меня, слезы брызгают у меня из глаз, и мы плачем вместе, прижавшись мокрыми лицами…

Вот она — прибыль и радость, с грустью смешанная…

Дни идут. Мама уехала. А ко мне неожиданно приезжают ребята из детдома. Сначала Олег Громов, а через недельку Ника Бобровская. Радость-то какая! Новости из Угор, воспоминания, гостинцы, приветы от ребят и воспитателей. Полтора года вместе — большой и интересный этап жизни. Силы мои прибывают с каждым днем. Я уже свободно брожу по всему госпиталю.

Мишка с медалью вбегает в палату.

— Ребята! Кинохроника приехала!

— Бреши дальше, — Женька громыхает костылями, — в двенадцатой еще тебя не слыхали!

— Не верите? Вот гад буду! К госпиталю две машины подъехали!

Мы выходим в коридор. Раненые стоят кучками у окон — там действительно что-то интересное.

Через полчаса вдоль больничных коек протягиваются толстые черные шнуры — шланги от электрософитов, между привычными

рубахами и кальсонами мелькают темные пиджаки и брюки работников кино, и нам объявляют, чтобы мы сидели в коридоре и не мешали — будут снимать нашу одиннадцатую палату.

Главный киношник, заглянув в дверь нашей палаты, отрицательно качает головой, потом бежит к начальнику госпиталя и возвращается через некоторое время с целой командой нянечек и сестер. Госпиталь перенабит ранеными. В нашу небольшую палату втиснуты десять коек, одна впритык к другой, между спаренными койками оставлены узкие проходы, в которых помещены маленькие тумбочки — одна на двоих. У пяти человек тумбочек вообще нет, и они держат мелкие личные вещи под подушками.

Коридор тоже весь заставлен койками, на них мы и сидим сейчас группами, наблюдая, как корячатся нянечки, вытаскивая железные кровати из нашей палаты. Некоторые выздоравливающие помогают им. Шум и смех стоят в коридоре, развлечений у нас никаких, а тут такая потеха!

Особенно изгаляется Женька, его охотно поддерживают остальные.

— Давай, давай! — Его звонкий голос разносится по всему коридору. — Выноси все, к чертовой матери, спать на улице будем! Абы кино красивое вышло!

— А мою ногу снимать будут? Я кальсоны сниму!..

— Глянь-ко! Цветы прут откелева!

— На хрена цветы — тут пальму надо! И фонтан с рыбками, — не унимается Женька, чтобы все видали, как братья-славяне живут! Тьфу!

Плюющегося и матерящегося Женьку приглашают в перевязочную. К нашей палате подвозят черные софиты. Я пролезаю между ними, заглядываю в дверь нашей одиннадцатой и ахаю.

В палате четыре койки, аккуратно застеленные конвертом. Новые простыни сверкают невообразимой чистотой. Наши четыре обшарпанные фанерные тумбочки покрыты белыми крахмальными салфетками (и откуда что взялось!), и на них установлены цветы в горшочках. Горшочки в блюдечках. На одной из коек сидит наш узбек (он признан наиболее фотогеничным) в новом белье и каком-то роскошном синем халате и картинно держится за костыль. Рядом с ним стоят киношники и что-то ему говорят. Он пересаживается другим боком, костыль ему укладывают на колени.

— Теперь хорошо! — кричит режиссер. — А вам что здесь надо?

Меня выдворяют, из-за двери раздается:

— Съемка!

Две машины отъезжают от госпиталя. В нашу палату снова втаскивают шесть коек, перезаправляют старое белье, забирают синий халат у узбека.

Горшочки с цветами мы не отдаем. Категорически. Принципиально. В борьбе со старшей сестрой палата проявляет неслыханное упорство и единодушие. Разругавшись с нами вдрызг, старшая уходит ни с чем.

Палата в восторге — все-таки разжились кое-чем с кинохроники!

Госпиталь ампутантов

Мне выдают теплый белый халат и ведут в чистую, недавно окрашенную белой масляной краской палату.

Навстречу мне попадаются две-три коляски с безногими; пропрыгали на костылях молодые мальчишки — отмечаю уже опытным взглядом — культя голени. Медицинская сестра ведет одноногого на костыле, правой руки у него тоже нет…

В палате мой ближайший сосед по койке, пожилой лысоватый мужчина, наклоняется ко мне и спрашивает мою фамилию, имя и отчество. Я называю.

— Будем знакомы — Лазарь Бурштейн. — И вдруг громко, на всю палату, сообщает: — А вот еще один представитель нашей нации — слышите? А говорят, что евреи не воюют, сидят по тылам…

Ко мне поворачивается несколько голов. Такое афиширование мне не по нутру, а, с другой стороны, — молодец Лазарь! Сказал то, что надо!

У самого Лазаря нет обеих ног.

Соседи по койке сидят ко мне спиной и беседуют. Я полудремлю на своей. До меня доносятся обрывки разговора. Привычные темы: кто где воевал, когда ранило. Но вот появляется мотив, который заставляет меня прислушаться.

— К нам новое подразделение прибыло. Салаги. А мы набирали в разные команды. Один еврей просит: «Запишите меня в длиннобойную артиллерию!»

— Куда?

— В длиннобойную! Чтоб подальше от фронта!

Оба хохочут и несколько раз пережевывают, смакуют это слово.

— Ну и как? Записали его в длиннобойную?

— Хрена с два! Послали в минометную роту. Станину таскать!

— Во бляха муха! Вместо длиннобойной…

Лежа под одеялом, я содрогаюсь. Распред в Чувашии… «Ты хочешь в сорокапятки или в дальнобойную?..» Вот что они имели в виду, вот почему издевались… А я, дурак, ничего не понял.

Ко мне подсаживается молодой парень в белом халате, называет себя Колей и начинает обычные расспросы: где ранен, откуда, есть ли родные и т. д.

Я поглядываю на него, отвечаю на вопросы и думаю, почему же он здесь — ноги у него здоровые, выглядит отлично, упитанный, разбитной, веселый, руки тоже на месте, только

держит он их почему-то в карманах халата.

— А у тебя что?

Он вынимает руки. Обеих кистей нет. Вместо них круглые розовые культяшки.

— Эх, все бы ничего, — шутит он, — да вот девки со мной гулять не хотят. Сюда, в госпиталь, их много приходит. Начнешь крутить — клюет. А как узнают — так хвост трубой!

Постепенно приглядываясь к окружающим, начинаю понимать, что в этом госпитале я чуть ли не самый легкий.

В Котельниче я был одним из самых тяжелых, с ампутациями там, кроме меня, было еще двое, а здесь…

Здесь мне прямо говорят: «Ну, тебе повезло! Дешево отделался! Счастливчик!»

И я начинаю приходить к убеждению, что я действительно счастливчик. Все познается в сравнении.

Кругом меня лежат люди без обеих ног, ходят без обеих рук. Через койку от меня играет в шахматы рослый парень. У него удивительно красивая голова — светлые кудри, огромные серые глаза с девичьими ресницами… Правой ноги у него нет до таза, левой руки тоже нет. Я спрашиваю, кто он, и Коля охотно рассказывает, что он москвич, зовут Володей, студент, ранен при форсировании Днестра. За то, что он одним из первых переплыл Днестр и закрепил за собой плацдарм на другом берегу, его представили к званию Героя Советского Союза.

— Вот, на днях будут звезду вручать… А вообще здесь героев много. В соседней палате двое героев лежат, да на третьем отделении один офицер без ноги, да Гришка на коляске катается, безногий, — тоже герой. А еще здесь генеральская палата есть — стенки цветами разрисованы!

— А что это вон у того парня?

— Это операция Крукенберга, — поясняет Коля, мне ее тоже делать будут. Вишь, у кого двух рук нет, а предплечье цело, ему разделяют кости — лучевую и локтевую — и как-то на них мышцы пришивают, что можно потом карандаш брать, и даже стакан берут некоторые…

Приглядываюсь. Выглядит «Крукенберг» ужасно, на месте предплечья — два больших толстых красных пальца, но они двигаются, раздвигаются, и я вижу, как один больной действительно берет ими стакан! — и, неестественно наклоняя голову (рука-то короткая), пьет какой-то морс.

В углу лежит молодой смазливый офицер с усиками. Зовут его Мишкой, он тоже еврей, как немедля сообщает мне Лазарь.

Мишка — москвич. У него под подушкой запрятана форма, и он часто убегает в самоволку. Он — «легкий». У него

ампутирована стопа, на костылях он не ходит, а бегает. К нему часто приходят девушки, и вообще он ведет себя вольно. Рана у него поджила, и он со дня на день ждет выписки.

Захожу в столовую и убеждаюсь еще раз — госпиталь здесь необыкновенный, тетя Таня старалась не зря!

Ряды столиков, накрытых белыми скатертями. Паркетный пол. Люстры. Столовая размещена в бывшем парадном зале. Высокие полуциркульные окна, между ними мраморные пилястры. На каждом столике — вазочки с цветами!

Но больше всего меня удивляют не люстры, не пилястры, не цветы, а хлеб, нарезанный ломтиками и лежащий на тарелках свободно. Как до войны — ешь, сколько хочешь!

Возвращаюсь в палату. По коридору ведут слепого. Странно, ведь здесь же госпиталь ампутантов… равняюсь с ним и останавливаюсь. Лицо слепого в мелких синих пятнышках — следах ожога и мелких осколков. Вместо рук из закатанных рукавов халата — два «Крукенберга»… Потом я узнаю, что такой здесь не один, — их целая палата, десять или пятнадцать человек, все безрукие и слепые. Все — бывшие саперы.

Вечером все ходячие раненые спешат в кино. Стуча костыли, однорукие везут на колясках безногих. Все в кино!

Здесь каждый вечер кино!

Гаснет свет, и на экране мелькают цветные пятна. Показывают трофейный немецкий фильм с Марикой Рёкк. Немецкая пышнотелая красотка лихо танцует, высоко задирая юбки, и на потеху и радость всему залу обнажает полные красивые ноги.

Бравурная музыка, нарядные цветные костюмы, красивые кавалеры в черных смокингах и цилиндрах, легкая любовь…

Не могу смотреть. Ухожу из зала.

В палате ложусь на койку и закрываю глаза. Перед глазами синие точки и два торчащих «Крукенберга».

На другой день узнаю интересные новости. В госпитале работает целая школа. Безногих обучают машинописи и стенографии. К безруким приходит юрист и читает общий курс юриспруденции. А кроме того, есть общеобразовательная школа, в которую я немедленно записываюсь.

Далекими, забытыми отголосками звучат странные звукосочетания: «разбор по членам предложения», «квадрат суммы», «правило винта». Нисса приносит мне учебники, карандаши, тетради. Она приходит часто, и вся палата считает ее моей девушкой.

Здесь ко многим приходят посетительницы: матери, жены,

девушки. К Лазарю приходит пожилая жена, кормит его, а потом они долго молча сидят на койке, прижавшись друг к другу.

Учителя сменяют друг друга. Между перевязками решаю примеры по алгебре, читаю «Слово о полку Игореве». Время идет. Чувствую я себя отлично, но рана упорно не хочет закрываться. На очередном утреннем осмотре ведущий хирург произносит тревожное слово «реампутация».

Нахожу себе занятие — помогать тяжелым. Целые дни катаю коляски, кормлю лежачих, вожу слепых, ношусь с какими-то поручениями. Однажды, пробегая мимо палаты саперов, слышу крик.

Захожу. В углу сгрудились раненые, что-то кричат, возмущаются, а на койке катается весь замотанный, с забинтованной головой человек и страшно кричит. Прибегает сестра, пытается его успокоить, он отталкивает ее замотанными обрубками рук и кричит еще сильнее, еще надрывнее.

Постепенно до меня доходит смысл его слов. Он просит себя убить, требует цианистого калия, он все равно жить не будет, не будет, не будет…

Такого я еще не видел. Спрашиваю, и мне объясняют.

В палату зашли какие-то раненые. Кто, откуда — никто не знает, вся палата слепая. Этот парень в углу — слепой и безрукий — попросил дать закурить. Дали.

Дали папиросу зажженным концом в рот. Пошутили.

Засмеялись и ушли.

Кричащий скатывается с койки и бьется забинтованной головой о железную ножку кровати. Уже две сестры держат его. Прибегает врач, няня. Он с силой отталкивает их ногами. Белые халаты наваливаются на дергающееся тело, укладывают на койку. Слышен приглушенный крик. Сестра убегает в операционную, потом возвращается со шприцем и всаживает его куда-то между белых халатов.

Больной затихает, засыпает.

Врач выгоняет посторонних из палаты…

И еще три эпизода запоминаются мне из московского госпиталя.

…Мишка-офицер, дождавшись ухода врачей, собрался в очередную самоволку. Надел брюки, офицерский китель, начистил хромовый сапог, схватил костыли и весело сказал палате «адью». Какой-то белобрысый парень с койки брякнул со злобной завистью:

— Ишь, еврейская морда, гуляет когда хочет…

Мишка побелел. В два прыжка — два стука подскочил к белобрысому, высоко над головой костыль поднял.

— Хочешь — башку проломлю?

Палата замерла. Белобрысый что-то залопотал, забормотал; Мишка постоял еще немного, а потом, четко печатая костылями, выбежал из палаты. Белобрысый вслед ему длинно и грязно выругался, а потом еще долго ругался, обещая поквитаться.

…Праздник 7 ноября. В госпитале его отмечают торжественно. К нам приходят делегации от фабрик и заводов. В кинозале идут концерты. Приходят пионеры из школы.

Все они в белых рубашках, красные галстуки оживляют вид приевшихся госпитальных стен. Звенят детские голоса, произносятся торжественные, наивные слова, нам преподносят подарки: конфеты, печенье, яблоки. Особенно достается Володе. Он сидит красивый, смущенный, на белой рубашке золотится звездочка на красной муаровой ленточке. А его просто засыпают подарками… Глаза детей смотрят на нас сочувственно и с некоторым испугом.

Где-то мои пионеры детдомовские, мой отряд? Сколько газет я им прочел, сколько мы стихов про героизм учили! А теперь я бы, наверное, рассказал им историю со слепым сапером…

В палату заходит еще какая-то делегация. Впереди руководитель — толстый мужчина в синем шевиотовом костюме.

На стол сыплются бумажные кульки, а толстый в шевиоте привычным движением поднимает руку.

Шум в палате смолкает — будет речь.

— Дорогие товарищи раненые, — произносит мужчина, приглаживает лоснящийся пробор, и с первых слов видно, что он здорово пьян.

— Дорогие защитники Родины! Вы храбро защищали нашу священную землю от фашистских оккупантов…

Он покачивается, слова у него плохо вяжутся, он икает.

— Дорогие вы наши бойцы, — продолжаем он, — поздравляем с двадцать седьмой годовщиной великого Октября… И не горюйте, ребята! Главное в жизни — голову на плечах иметь да руки! — Он протягивает вперед свои красные мясистые ладони и повторяет: — Голову да руки! Руками можно все сделать!

Его дергают за рукав, он кончает речь и сам разносит кульки по койкам.

Хмуро молчит палата. Из двадцати ее обитателей у половины нет какой-нибудь руки, а Колька — без обеих.

— У, сука толстая, — с ненавистью шипит он вслед уходящей делегации и вдруг с криком и слезами топчет кулек. Летят карамельки, сыплется стертое в порошок печенье. Я уговариваю, успокаиваю Кольку. Пионеров быстро выводят из нашей палаты.

И еще одно воспоминание.

Провожают Володю. Его провожает сам начальник госпиталя, полковник медслужбы, политотдел госпиталя. Какие-то офицеры приехали за ним на легковой машине.

Торжественные проводы. Речи. Цветы.

Раненые в халатах образуют большой круг в вестибюле госпиталя, внутри этого круга другой, меньший круг из начальства госпиталя, врачей, офицеров. А посредине, тяжело опираясь одной рукой на костыль, возвышается Володя в офицерском кителе с золотой звездой… Он стоит красивый, грустный, отрешенный от всех речей и почестей, и глаза его теплеют, только когда он встречается взглядом со стоящей рядом худенькой и невзрачной девушкой. Она обнимает его крепко, на глазах у всех, и осторожно ведет по каменному полу к выходу, а он неуклюже трюхает рядом всей своей громадой.

— Мог бы и покрасивше найти… — говорит кто-то сзади.

Нет, пожалуй, не нужна ему покрасивше.

По тому, как она, слившись с ним воедино, поддерживает его, как бережно ведет, как смотрит на него, и по тому, как он ловит ее взгляд, видно, что нашел он для себя самую красивую…

Еду в Ленинград!

Уже был назначен на реампутацию, и вдруг спасительный вызов от Лили — перевод в ленинградский госпиталь.

В Ленинград, в Ленинград! К нашим!

Я просто прыгаю от радости.

Мне выписывают документы и выдают (вот неожиданность!) вместо военного обмундирования шикарный серый американский костюм-тройку. Из нашего госпиталя в строй не возвращаются, поэтому начальство позаботилось о том, чтобы выписывающиеся получали гражданскую одежду из американских подарков.

Я получаю черную шинель-пальто, белую шапку-ушанку и останавливаюсь перед зеркалом — я это или не я?

Последние прощания с родными. Мы с Ниссой идем на вокзал — Ленинградский вокзал!

Смотрю на свой билет и обнаруживаю, что еду в одиннадцатом вагоне.

Это портит настроение — не люблю число одиннадцать. Одиннадцатого ноября началась моя армия. Одиннадцатого июля я был ранен. В одиннадцатой палате мне отняли руку. А теперь этот вагон. Хорошего не жди.

Делюсь своими предчувствиями с Ниссой. Она смеется: не знала, что ты суеверный!

Мы спешим к вокзалу. До отхода пятнадцать минут. Нисса несет мой рюкзак, аккуратно и плотно запакованный ею; мы минуем ступени. Платформа, поезд. Одиннадцатый вагон. Рядом с проводником стоит офицер НКВД.

— Ваши документы.

Показываю заранее приготовленные документы: справку из госпиталя, красноармейскую книжку, билет.

Офицер медленно просматривает все бумаги.

— Почему едете в Ленинград?

— Перевожусь в ленинградский госпиталь.

— На основании чего переводитесь?

— На основании вызова.

— Где вызов?

Нисса начинает нервничать. Часы на платформе показывают пять минут до отхода поезда.

— Вызов в рюкзаке. Я же предъявил все нужные документы.

— Мне не указывайте! Я знаю сам, что нужно. В Ленинград вы не поедете.

— Дай рюкзак, я достану вызов! — Нисса начинает лихорадочно распаковывать рюкзак и срывает ноготь. По пальцу

сильно струится кровь, она облизывает ее и выворачивает из рюкзака какие-то тряпки, подарки, конфеты. Все это летит пестрой кучей на перрон.

— Вот вызов — смотрите.

Офицер просматривает вызов.

— Раз вы переводитесь в госпиталь, у вас должна быть история болезни. Предъявите историю болезни.

— Это еще зачем? Вы что — врач?

— Я сказал — в Ленинград не поедете.

Где-то впереди слышен свисток, и паровоз отвечает протяжным гудком.

Нисса вытряхивает на перрон все, что было в рюкзаке, и достает уложенную на самое дно историю болезни, потом беспорядочно запихивает назад всю кучу вещей.

Офицер листает историю болезни.

Поезд трогается.

— Идите в вагон, — говорит он, становясь на подножку. — Вот, держите пока вашу липу, — сует он мне ворох бумаг.

Прыгаю на подножку. Нисса передает мне раскрытый рюкзак.

— До свидания, Ниссочка! Спасибо за все!

Захожу в вагон, волоча за собой рюкзак. Пачка документов — в зубах. Нахожу свое место. Вагон воинский, вокруг меня серые шинели, я один здесь штатский.

Сначала меня принимают как чужого, но потом, разобравшись, в чем дело, дивятся — какой это госпиталь так шикарно одевает солдат.

Поезд постукивает. С каждым стуком — шпала. С каждой шпалой ближе Ленинград!

Ночь — и я дома. Прямо не верится! А пока можно прикорнуть немного.

Меня будит милиционер и требует следовать за ним. Он ведет меня через несколько вагонов, и я оказываюсь в дежурке того самого офицера. Снова проверка документов, на этот раз он перечитывает все медленно, сопоставляя даты, вглядывается в печати, подписи и говорит, что все равно высадит в Бологом. В Ленинграде мне делать нечего.

Не возражая, молча сижу. Одиннадцатый вагон — чего можно было еще ожидать!

Часа через два проверка кончается. Офицер говорит, что займется мной еще в Ленинграде, и отпускает меня.

Возвращаюсь в свой вагон и уже спокойно укладываюсь на скамейке.

Основания для подозрений были, конечно, веские. Пришел я не с группой солдат, а один. Штатская одежда. Провожающая

девушка. Деталь — инвалидность — не имела значения.

Поезд замедляет ход. Проплывают мимо окон первые ленинградские дома. Неужели я действительно сейчас сойду на перрон? На наш перрон? Сколько перронов позади… Мантурово, Муром, Вязники, Канаш, Волочёк, Котельнич, Москва…

Мне не сидится на месте. Уже час как я полностью одет и стою у выхода, а поезд все движется, движется, движется…

Мое напряжение достигает предела.

Сейчас должно произойти что-то очень важное, значительное — такое, чего я ждал все эти два с половиной года, которые не был здесь…

И это важное наступает.

Поезд дает мягкий толчок.

Расталкивая людей, я выскакиваю на перрон и обнимаю маму…

Ленинградский госпиталь

Вот я и дома. Снова (кажется, прошла вечность!) я брожу по улицам Ленинграда, не веря в реальность происходящего.

Дома все по-старому: стены, комнаты, коридор, кухня, вещи, картины, книги… Впрочем, мебели поубавилось, в блокадную зиму в буржуйках сгорели стулья, столы, угловой шкаф дедовой работы. Окна отмыты от бумажных и марлевых крестов. Я сижу на своем диване и перебираю старые рисунки и школьные дневники. «Литература — пять, алгебра — тройка… Плохое поведение на уроке физики…» Забавно.

Я дома и не дома, так как мне еще предстоит долечиваться в ленинградском госпитале. У меня ничего не болит, но рана не закрывается. Что-то неладно.

Госпиталь находится в Демидовом переулке в здании Географического общества. Когда-то я здесь был. Когда?

Память выхватывает темный зал на втором этаже, луч света от проектора — «волшебного фонаря» — и сменяющиеся на экране цветные картины итальянских художников. Высокое Возрождение. Ренессанс… Надо же, я еще кое-что помню!

В этот самый зал и приводят меня на одну из шестидесяти коек, размещенных в два ряда с одной стороны зала и одним рядом и столиком медсестры с другой. Между койками широкий проход, заканчивающийся выходной дверью.

Наша палата для ходячих больных именуется «Большим коридором». Я занимаю свое место у самого окна и оглядываюсь.

Мой сосед Ваня Сураев, бритоголовый крепыш, встречает меня доброжелательно, предлагает курево, хлеб, луковицу, а я разворачиваю бутерброды с сыром из дома, и мы пируем на прикроватной тумбочке.

Я чувствую себя прекрасно. В госпиталях я отъелся, воспрял духом, рядом родные, и я энергично ищу какого-нибудь дела.

Дело подворачивается сразу. Комсорг госпиталя Лешка Баранов в два счета устраивает меня госпитальным почтальоном. Ура! Лучшего я не мог бы и пожелать!

Мне оформляют пропуск, и ежедневно по утрам я езжу в ФЭП-50 на Суворовский проспект, набиваю сумку письмами с треугольной печатью «Проверено военной цензурой» и еду домой. Там провожу час-два и возвращаюсь в госпиталь сытый и довольный.

В один из приходов застаю в нашем коридоре необычное оживление и суматоху. Нянечки и сестры носятся как угорелые, меняют белье на койках, протирают подоконники и полы.

— Что такое? Опять кино?

— Какое кино? Генерал едет. Проверяющий. Из округа.

Суматоха усиливается, зал принимает парадный вид, старшая покрикивает, требуя безукоризненной заправки коек, а потом убегает куда-то вместе с двумя самыми молодыми и здоровыми ребятами.

Через несколько минут они возвращаются с каким-то большим свитком на плечах, спускают его на пол, и мы ахаем: в проходе во всю длину зала раскатывается темно-вишневая с зелеными кантами по краям ковровая дорожка!

Всем нам приказано сесть на свои койки (ни в коем случае не лежать!) и ждать прихода гостей. В палате стоит разноголосый гул, смешки, легкий добродушный матерок.

Дверь распахивается, и наконец появляется грузный и представительный генерал в белом, накинутом на плечи халате, в сопровождении многочисленной свиты. Немного впереди него, под углом вполоборота, мелко ступает начальник госпиталя, что-то объясняя, за ним куча белых халатов — человек двадцать. Генерал идет неторопко, не оглядываясь на нас. Пройдя коридор, вся команда исчезает за дверями, и тут же снова возникает старшая сестра:

— Шура! Вася! Скатывайте! И по черной лестнице вниз! Там раскатаете снова! Быстрее, мальчики! Может быть, успеем!

Вася и Шура, заткнув мешающие полы халатов за кальсоны, под общий смех и коллективные советы быстро катают дорожку, взгромождают ее на плечи и исчезают.

Мне не сидится. Я притаскиваю из дома бумагу, карандаши и начинаю рисовать моего нового приятеля Диму Прасолова, худого, шустрого и любознательного парня из города Кондрово. Он сидит в белой ушанке на краю моей койки и рассказывает, как его из госпиталя отправили на «губу».

— За что?

— А этот, как его, начальник госпиталя, увидел, у меня волосы выросли, и говорит: сбрить немедленно! А я говорю: чего это сбрить, что у вас, гестапо, что ли? А он разозлился и приказал: на «губу», на двадцать суток…

— Двадцать? И все отсидел?

— Нет, только четыре. Потом был праздник — двадцать третье февраля, и нам всем на «губе» амнистия. Но я рад, что был на этой «губе».

— Почему?

— Потому что на этой самой «губе» сидел один поручик.

— Поручик?

— Да, поручик.

— Какой еще поручик?

— Михаил Юрьевич Лермонтов.

Забегая вперед, хочу сказать, что из всего калейдоскопа лиц и характеров, встретившихся мне в военные годы, Дима Прасолов — единственный, с кем я сохранил дружбу на всю жизнь.

Диме выпала особая судьба: быть трижды раненным и остаться живым, и один раз убитым, а потом воскреснуть. Через несколько лет после госпиталя он посетил свой родной город и на братской могиле обнаружил свои имя и фамилию, высеченные на черном обелиске среди других, не вернувшихся с войны кондровцев. Потом выяснилось: когда его, раненого, в бессознательном состоянии увезли с Курской дуги, ротный писарь выслал на родину похоронку, и райвоенкомат включил его в список погибших.

Наш разговор и сеанс рисования прерывает сестра:

— Разумовский, в перевязочную на осмотр.

Мой новый врач, энергичная и симпатичная Маргарита Вульфовна, осматривает рану, подносит к окошку мои рентгеновские снимки и решительно заявляет:

— Свищ не закрывается пять месяцев. Хронический остеомиелит надкостницы. Будем чистить кость.

— Как? Опять операция?

— Другого пути нет. Почистим кость, закроется рана — и на выписку. Домой хочешь?

— Да.

Через три дня операция и через месяц домой. Рад? Сестра, перевяжите больного.

— Не надо. Я сам.

Я быстро забинтовываю культю и завязываю концы бинта бантиком. За полгода я научился перевязываться, да и многому другому, что казалось вначале невозможным.

Через пару месяцев я заканчиваю свой армейский путь — полгода запасного полка, три недели фронта и девять месяцев лечения в госпиталях.

Свое девятнадцатилетие и День Победы я встречаю уже дома.

Встреча победителей

Конец мая. Солнце бьет в окна нашей квартиры на Третьей Красноармейской улице.

Я просыпаюсь рано, пока все еще спят, и первым делом хватаюсь за нитки, иголку и гимнастерку.

На это есть особые причины.

Сегодня через город проходят победоносные войска Ленинградского фронта, об этом уже три дня как кричит радио, сообщают газеты, и город готовится к встрече победителей.

На нашем доме висит красный флаг. Такие же флаги висят и напротив, на доме номер восемь, на здании института ЛИСИ и по всей остальной улице. Международный проспект, по которому пройдут войска, украшен еще наряднее, кругом лозунги: «Слава воинам-победителям!», «Родина-мать встречает своих сыновей!», «Наше дело правое — мы победили!», а на здании Технологического института — огромный портрет Сталина в форме генералиссимуса.

Я тоже готовлюсь к встрече. Гимнастерка плотно растянута коленями, и иголка делаемт последние стежки, прикрепляя желтую ленточку над левым карманом. Это — единственный знак, свидетельство моего участия в сегодняшних событиях, право выйти на улицу в этот замечательный солнечный день и право открыто и честно смотреть в глаза людям.

Улица заполняется народом. Все спешат к Международному. Я надеваю кепку, подпоясываюсь ремнем и вылетаю на улицу.

На Международном вдоль трамвайных путей уже выстроились толпы народа. Люди возбуждены, все в радостном ожидании, многие с букетами полевых цветов, очень много военных. Милиционеры в серой форме суетятся, выстраивают народ в две линии, подготавливая проход для войск, которые должны появиться от Московских ворот.

Дети перебрасываются раскидаями (впервые вижу с довоенных времен), женщины оделись в яркие платья, толпа гудит, движется, колышется, напряжение нарастает, и вот где-то у Фрунзенского универмага раздаются звуки духового оркестра, и по толпе единым вздохом проносится: «Идут!»

Шеренги приходят к движение, уплотняются, люди становятся ближе друг к другу, толкаются, милиционеры ровняют проход, бесцеремонно отталкивая первые ряды назад, гул, выкрики, — и вот они показались!

Впереди торжественно шагает духовой оркестр, золото труб под ярким майским солнцем слепит глаза; праздничные

мажорные звуки тонут и вновь прорываются сквозь разрозненное многоголосое «ура!..».

А вот и войска!

Медленно едут «виллисы». В первом в невообразимо роскошном парадном мундире стоит генерал с рукой под козырек, золотые погоны, пестрота множества орденов, фуражка с золотой тульей, золотая звезда Героя. Вокруг него блистательные офицеры. Господи, сколько орденов!

«Виллис» с рослыми, один к одному, загорелыми, подтянутыми гвардейцами — руки на автоматах, белозубые улыбки — охрана генерала — медленно, колесо в колесо, следует за начальством, и букеты летят в машины, пестрым дождем рассыпаясь на отдельные цветочки.

Идут солдаты.

Боевые офицеры возглавляют колонны. Парадная форма, золоченые погоны. Бравые, красивые, загорелые мужчины печатают шаг, позвякивая орденами перед ликующей толпой. Солдаты, солдаты, солдаты… Все с боевым оружием, с автоматами, пулеметами Дегтярева на плечах, они идут сомкнутыми рядами, счастливые, улыбчивые, медаленосные, идут в строю, по-военному, но как-то вольно, не парадно, а как хорошо поработавшие и знающие себе цену люди, радостно возбужденные и по праву принимающие горячие приветствия и искреннюю благодарность народа.

Идут победители.

Идут победители черных сил фашизма, идут баловни и избранники судьбы, чудом оставшиеся в живых счастливцы, которых, по случайному стечению обстоятельств, почему-то пощадила костлявая…

Остановилась колонна.

Команда «Вольно!» — и толпа бросается вперед, сминает милицию и смешивается с колонной. Женщины обнимают и целуют солдат. Солдаты высоко подбрасывают визжащих от восторга детей. Откуда-то появляются бутылки, и водка плещет в граненые стаканы.

Меня зажали, оттеснили назад, и я, охваченный общим порывом, протискиваюсь вперед к солдатам и отодвигаю плечом худую женщину, что-то выкрикивающую в экстазе.

Жидкие светлые волосы у нее разметались по плечам, платок сбился, в одной руке буханка хлеба, в другой — наполовину пустая бутылка с водкой.

— Чего растолкался? — сердито бросает она мне и, глядя светлыми злыми глазами, добавляет: — Понаехали тут!

— Становись! — звучит команда, и зелено-серое с трудом и

не сразу расцепляется с пестрым.

И снова мерно стучат сапоги, и снова где-то вдали гремит оркестр, и снова шумит ликующая праздничная полупьяная толпа, но все это уже там, позади, потому что я медленно, внимательно рассматривая выщерблины на панели, бреду назад, к нашему дому.

Ленинград. 1960–1968 гг.